



СТЕПАН ГЕДЕОНОВ
ВАРЯГИ
И РУСЬ
Разоблачение
«норманнского мифа»

Степан Александрович Гедеонов

Варяги и Русь. Разоблачение «норманнского мифа»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6371265*

*Гедеонов С.А. Варяги и Русь. Разоблачение «норманнского мифа». / Гедеонов С.А.: Алгоритм;
Москва; 2011
ISBN 978-5-6994-5930-8*

Аннотация

«Варяги и Русь» известного отечественного историка Степана Александровича Гедеонова (1816-1878) – одна из главных книг, наносящих сокрушительный удар по норманнской теории возникновения русской государственности. Впервые изданная в 1876 г., она была сразу отмечена как значительное явление в русской исторической науке, как образец объективности и научной добросовестности. Книга не утратила актуальности и до сего дня является одним из основных пособий для тех, кто изучает происхождение Руси. Адаптирована для популярного чтения.

Содержание

Часть первая	4
I. О норманнском начале в русской истории	4
II. Кто призывал варяжских князей?	21
III. Основные причины призвания	32
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Степан Александрович Гедеонов

Варяги и Русь. Разоблачение «норманнского мифа»

Часть первая «Варяги»

I. О норманнском начале в русской истории

Призванием варяжских князей начинается политическая жизнь Руси; под влиянием нового династического начала Русь вступает на поприще европейской истории.

Значение этого события определяется народностью призванных варяжских князей. Их считали поочередно финнами, хазарами, норманнами; последнее мнение стало господствующим; но при замечательно ученой и совестливой разработке письменных (преимущественно иноземных) исторических документов норманнская система происхождения руси далеко не удовлетворяет существенному требованию русской науки, а именно, объяснению из скандинавского элемента начальных явлений исторического русского быта. Как все вопросы о народных началах, так и варяжский имеет две стороны, письменную и фактическую. К доказательствам письменным принадлежат дошедшие до нас свидетельства, сказания и предположения русских и иноземных летописателей о народности руси и варягов; таковы сказания и мнения Нестора о началах русского государства имени около половины IX века; свидетельства Вертинских летописей о шведской, Ахмед-эль-Катиба и Лиутпранда о норманнской руси, Константина Багрянородного о названиях днепровских порогов и т. д. Взятые отдельно, эти свидетельства подтверждают, при первом взгляде, мнение о норманнстве руси; но, взятые отдельно, свидетельства Григория Турского подтверждают мнение о троянском происхождении франков; Феофилакта – об аварском происхождении славян; Ибн-Гаукала – о русском происхождении мордвы. Значение письменных документов и их толкований при решении вопроса о спорных народных началах, очевидно, подчинено необходимости согласования различных сказаний и мнений с положительными следами влияния одной народности на другую в отношении к языку, религии, праву, народным обычаям и преданиям. Теперь, удовлетворяет ли норманнская система этим условиям своего значения в области русской науки? Указывает ли она на непреложные, верные следы норманнского влияния на историю и внутренний быт словенорусских племен? Мы увидим противное; увидим не только явное отсутствие норманнского начала в основных явлениях древнерусского быта, но и совершенную невозможность согласовать их существование с предположением о скандинавизме призванных варягов. А в таком случае не вправе ли мы положить, что письменные свидетельства, на которых норманнская школа преимущественно (можно почти сказать, исключительно) основывает свою историческую теорию, или сами по себе неверны, или неверно поняты новейшими толкователями? Рассмотрению этих свидетельств с иной, по моему убеждению, более рациональной точки зрения, посвящена значительная часть моей книги; здесь я должен прежде всего утвердить отсутствие положительных следов норманнского влияния на Русь, а с другой стороны, указать на явное участие в развитии исторического русского быта иного, западнославянского начала.

Немецкие представители норманнского мнения в прошедшем столетии – Байер, Миллер, Тунманн и Шлецер – трудились над древнейшей историей руси, как над историей вымершего народа, обращая внимание только на письменную сторону вопроса. Для них Русь была то самое, что для других ученых немецких исследователей пелазги или этруски; загадочная народность, о началах которой сохранились намеки у греческих и латинских писателей. Находя норманнским подобозвучные имена у первых русских князей, у послов Олега и Игоря, находя шведскую русь в Вертинских летописях, норманнскую в известиях Лиутпранда и Константина, они провозглашали норманнское происхождение Руси, нимало не заботясь о том, отозвалось ли это норманнство в истории и жизненном организме онемеченного ими народа. Что, между тем, по крайней мере Шлецер понимал необходимость вззрения и на фактическую сторону предмета, в этом, при его научной опытности, не позволено сомневаться; дело в том, что для полного и беспристрастного обсуждения вопроса как его предшественникам, так и ему недоставало основательного знания русского языка, русского быта и письменности в связи их с прочими славянскими языками, народными особенностями и литературами. Или не отсюда его односторонний, исключительно норманнский взгляд на первый период русской истории? его невнимание к славянским началам ее? его непростительно вольное обхождение с русскою летописью? Где Нестор мешает ему, он укоряет его вставками; где случай наводит его на факты, явно опровергающие его систему, он или молчит, или довольствуется бесплодным на них указанием; при случае, возьмем для примера хоть бы выдумку понтийских псевдо-‘Рѡс’сов 866 года, он увлекается до изобретений. Сознывая Перуна и Волоса славянскими божествами, он считает излишним входить в объяснение причин, по которым мнимые норманны Олаф (Олег) и Ингвар (Игорь) и их скандинавские сподвижники клянутся по русскому (норманнскому) закону славянскими божествами, а не Одним и Тором. Он говорит в одном месте: «Надобно быть очень крепку на ухо, чтобы не слышать столь часто повторяемое Нестором, что новгородцы, киевляне и все прочие народы сего государства (дело идет о племенах, принимавших участие в греческом походе 907 года) назвались русами после пришествия варягов»; а в другом, что русами при Олеге и Игоре были еще одни только норманны, т. е. варяги; «владевающий народ еще не смешался с прочими; долгое время возвышался Франк над Галлом и все делал один, не принимая в сотоварищество им побежденного» и т. д. Он замечает с удивлением непонятно скорое исчезновение норманнства в именах наших князей, тогда как «германские завоеватели Италии, Галлии, Испании, Бургундии, Картагена и пр. всегда в роде своем удерживали германские имена, означавшие их происхождение»; но как объясняет он этот факт, очевидно, противный норманнству варяжских князей? *неизвестными причинами*, вследствие которых «славяне рано сделались господствующим народом». О языке, праве, обычаях руси и т. д., с точки зрения норманнского влияния на Русь, у него даже нет и помину.

Современная наука не допускает ни молчания, ни изобретений, ни неизвестных причин. Она говорит: если варяги-русь скандинавы, норманнское начало должно отозваться в русской истории, как начало латино-германское в истории Франции, как начало германо-норманнское в истории английской. Не в мнимогерманских именах наших князей и послов их, не в случайных, непонятых известиях Вертинских летописей, Лиутпранда и Константина, – норманнство должно отозваться в самой жизни Руси, в ее религии, языке, праве, в народных обычаях, в действиях и образе жизни первых князей и пришлых с ними варягов. Без полного удовлетворения этим условиям исторического самопознания система норманнского происхождения Руси остается вне права науки, как остается вне права науки система славянского происхождения, покуда хотя одно из возражений норманнской школы будет оставлено без ответа.

Изыскания Круга изданы по смерти его, до приведения их самим автором в систематический порядок. Из статей, имеющих целью указать на живые следы норманнского начала в русской истории, особенно замечательны по содержанию:

№ VII. О языке Руси в IX и X столетиях.

№ VIII. Происхождение и объяснение некоторых русских слов в летописи Нестора и законах Ярослава.

№ X. Мысли о древнейшем устройстве и образе правления Русского государства.

№ XI. О гридьбе при первых русских князьях, в сравнении с учреждением Hirdmenn'ов¹ в Скандинавии.

№ XII. Примечания к известиям Ахмед-ибн-Фоцлана о языке, религии, нравах и обычаях языческой руси в начале X века.

Судя по одним заглавиям этих статей, читатель, конечно, подумает, что для исследователя, подобно Кругу, действительно убежденного в норманнстве варяжской руси, не могло быть недостатка в доказательствах норманнского влияния на внутренний быт русского общества. Выходит противное. За исключением № VIII, в котором Круг выводит самым неудачным образом чисто славянские слова из скандинавских, все остальные номера или представляют исследования о норманнском языке, праве, норманнских обычаях и пр. без малейшей связи с языком, правом и обычаями так называемых варягов-руси, или указывают на факты, которым следовало бы проявиться в русской истории, если бы варяги-русь были норманны.

Из статьи о языке мы узнаем следующие положения: древнескандинавский язык назывался *Dönsk tunga*, *Norran tunga* или *Norgoena*; *так как* варяги были норманны, а при Рюрике множество скандинавов селилось в Новгороде, оба языка – норманнский и славянский – слышались одновременно в Новгороде; *без сомнения*, было даже время, когда норрена там господствовала; знатнейшие из славян, преклоняясь перед троном для снискания благосклонности новых русских, т. е. норманнских князей, *весьма вероятно*, стали вскоре изучать их язык и обучать ему своих детей; простые люди им подражали; употреблению норрены *надлежало* сохраниться на Руси долее, чем в Нормандии, ибо тамошние князья приняли христианство семидесятью шестью годами (в 92) ранее наших; так как в эпоху призвания грамота уже существовала в Скандии, *то должно непременно ожидать*, что русы, вскоре призванные оттуда в землю, назвавшуюся от их имени Русью, вместе с норманнским языком принесли с собою и норманнское письмо; из двух экземпляров договоров, заключенных между русью и греками, *вероятно*, один был составлен на скандинавском языке.

На каких доказательствах основаны эти *несомненные* и *вероятные* положения? Они двоякого рода: 1) русские названия днепровских порогов у Константина Багрянородного звучат по-норманнски. 2) В древнерусском, преимущественно юридическом языке встречаются многие слова, очевидно, германского происхождения, *занесенные к нам норманнами*. Критическое исследование этого последнего положения принадлежит к № VIII: происхождение и объяснение некоторых русских слов в летописи Нестора и законах Ярослава.

Прежде всего и один раз навсегда я делаю следующую оговорку: до нашего предмета не касаются те общеславянские слова, каковы *князь*, *пенязь*, *град*, *хлеб* и пр., которым иные исследователи приписывают доисторическое германское происхождение. Как славяне от германцев, так германцы заняли изрядное количество слов от славян; это общелингвистический, уже давно обсужденный вопрос. «Все эти языки, – говорит Шафарик о славянском, греческом, латинском, кельтском и германском, – имеют многочисленные общие слова, составляющие в чистых корнях своих неоспоримую собственность каждого и для которых было бы бессмысленно отыскивать первенство обладания, напр., нос, *Nase*, *nasus*; око, *Auge*,

¹ Телохранители скандинавских конунгов.

oculus» и пр. К словам, долженствующим обнаружить влияние норманнского языка на русский вследствие призвания варяжских князей, норманнская школа вправе отнести только такие, которые, являя все признаки норманнства, с одной стороны, не встречаются у прочих славянских народов, а с другой, не могут быть легко и непринужденно объяснены из славянских этимологии. Конечно, эти правила не совсем согласны с лингвистическими законами, которыми руководствуются поборники скандинавизма; например, производя слово *болярин* от составного норманнского *ból-praedium, villa*, и *Jarl-comes*. Круг замечает, что слово *боляре* существует и в славянской Библии, и у сербов, ляхов, рагузинцев, виндов, хорутан и т.д. «Но, – говорит он, – не должно думать, чтобы норманнскому происхождению слова *болярин* противоречило его употребление у болгар *за сто лет до основания государства*. Только *здесь* я не могу этого доказать и отсылаю к моему исследованию о начале Руси». Этого исследования в посмертном издании его изысканий не оказалось. О слове *коляда*, происходящем, по мнению Круга, от скандинавского *Jolessen*², он говорит, «что многие из этих слов встречаются и в прочих славянских наречиях, еще ничего не доказывает против предположения о норманнстве слова *коляда*. Так напр., русское *коляда*, у сербов *koleda*, у поляков *kołęda*, у краинцев также, у кроатов *koledo*, у босняков *kolenda*, у чехов *koleda, kalemga*; но оно не имеет корня в славянских языках». Что сказать об исторической системе, основывающей свои доказательства на лингвистике этого рода?

Из слов мнимогерманского и норманнского происхождения Круг приводит следующие: князь, пенязь, усерязь, витязь, шляг (sic!), стерляг, пуд, суд, град, грид (sic!), ряд, скот, хлеб, шнек (sic!), полк, вира, мясячина, дума, броня, мыто, мытарь, свекорь, кароль, снеть, рыцарь, рухлядь, весь, ремень, люди, нетий, кнут. Эти слова он готовил для нового издания академического словаря. Сверх того, он основывает мнение о норманнском составе Русской Правды на мнимонорманнском происхождении слов вервь, вира, говядо, гость, гривна, гридин, людин, огнищанин, скот, тиун и т.д. Он говорит по этому поводу: «Иногда мучаются для отыскания славянских корней для слов очевидно норманнского происхождения, каковы гридин, болярин, пенязь, вира, вервь и значительное количество других, коих норманнство будет ясно показано». Между тем им исследованы только слова: князь, пенязь, дума, ябетник, тиун и гридин.

Образцовое рассуждение г. Срезневского о словах: боярин, безмен, вервь, вира, верста, Господь, гость, гридь, дума, князь, луда, люд, мечь, мыто, навь, нети, обел, огнищанин, оружие, смерд, терем, якорь, город, дружина, колокол, котел, лодия, муж, стяг, холоп, цепь, челядь, – избавляет меня от труда доказывать славянство их происхождения и общность у всех славянских народов. Но я не могу допустить с г. Срезневским и того десятка слов происхождения сомнительного или действительно германского, о которых он упоминает и к которым причисляет слова тивун, шильник и ябетник. Слова, каковы напр., *шильник* и *шнека* не идут к вопросу о норманнском происхождении Руси; их позднее происхождение от германского и скандинавского языков имеет известное историческое основание в торговых и иных сношениях Новгорода с шведами и немцами в XII–XIV столетиях и доказывает происхождение руси от норманнов, как английские, голландские и французские слова в русском языке доказывают происхождение руси от англичан, голландцев и французов. Что касается до прочих слов, встречающихся в древнейших памятниках нашей письменности и означающих основные русские учреждения, они, как и приведенные выше у г. Срезневского, все объясняются из славянских источников или перешли к нам славянским путем. Из этих, у г. Срезневского необъясненных или допускающих иные, дополнительные объяснения слов, я привожу следующие:

² Йоль – языческий праздник в честь зимнего солнцестояния, «поворота зимы» – увеличения продолжительности светового дня. Отсюда и славянские «колядки» (от слова «коло» – поворот, оборот). – *Ред.*

Боярин. Круг производит слово боярин от скандинавского *ból-praedium*, *villa* и *Jarl-comes* и считает форму *болярин* древнейшей. Та же форма и у болгар; Феофан пишет *βοῦλάδες*; Конст. Багр. *βολιάδες*. Слово *боляре* в книге Эсфирь I, 6, вероятно, позднейшая вставка. Погодин принимает словопроизводство протоиерея Сабинина от исландского *baear-villa*, *praedium* и *menn* – мужи; *baear-menn* – мужи града. Г. Куник полагает, что слово *болярин* есть не что иное, как славянская форма народного *bolgar*, болгарин и указывает на переходные связующие формы *Bileres* у Плано Карпини; *Byler* у Vine, de Beauvais; *terra Bular* у безымянного нотариуса короля Белы; от первоначального *болярин* позднейшее *боярин*. Шафарик производит греческое *βοῦλάδες*, *βολιάδες*, от финно-уральского *boilas*, *bulias*, *collect.* *boilad*, *buljad*; срвн. аварское *beled-proceres*. К славянам оно перешло в двойкой форме:

1) *byl'*;

2) *boljarin*, *bojarin* древнерусск. *baarin*, откуда сокращенное средневековое латинское *Baro*.

Ни одна из этих этимологий не объясняет, каким образом германо-скандинавское *bol-jarl*, исландское *baear-menn*, народное болгарин, финно-уральское *bulias* перешли во все славянские наречия; ни почему, при болгаро-сербской форме боярин, встречаются формы: на Руси – боярин; у хорватов и хорутан – боjar, боjar, боjarин, воярин; у поляков – *bojar*; у чехов – *bojar*, *bojařiu*; у рагузинцев – *bojâr*; у молдаван и валахов – *un boiarin* в смысле *vir nobilis*; у мадяров – *bojar*, герой; в новогреческом языке *μπογιάρος*.

Г. Срезневский принимает для слова боярин, болярин два корня: бой – вой; боль – вель (большой, великий), как напр., два корня (свят – *sanctus* и свет – *lux*) для имени славянского божества Святовита, Световита. Но разрешает ли это толкование затруднения вопроса? и не ясно ли, что из двух корней все же один остается основным?

Я думаю, Карамзин был прав, считая форму боярин древнейшей.

Против этимологического родства греческого *βοῦλάδες*, *βολιάδες*, со славяно-болгарским *боляре* говорит то обстоятельство, что этим формам, равно как и финно-уральской *boilas*, *bulias*, недостает основной в слове *боярин*, *болярин* буквы *р*. Этими формами греки выражали славянское слово *быль* (*senior*). В переводном Георгии Амартоле: «Коуръ (Κῦρ) скоро посла быля своего къ нему (Дашилу), да съ честию приведууть и». В Слове о полку Игореве: «А уже не вижду власти сильнаго и богатаго и много вой брата моего Ярослава съ Черниговскими *былями*». «В просторечии (в Рязанск. губ.), – замечает Снегирев, – называется *небылем* человек незначущий».

У болгар и сербов господствует исключительно форма *болярин*; на Руси формы *боярин*, *болярин* являются одновременно; у остальных славянских народов известны только формы *боjar*, *боjarин*. Во всех ли славянских наречиях, за исключением болгар и сербов, слово боярин явление позднейшее, как уверяет, но без доказательств, Круг? От руси ли оно перешло к чехам, хорутанам, хорватам, рагузинцам? Если же от болгар или сербов, почему известно оно у них не под болгаро-сербской формой *болярин*!

Окончательная форма на -ин в славянских языках предполагает или существующее, или утратившееся, или воображаемое собирательное. Так *челядь* — челядин; *люд* — людин; *русь* — русин; *гридь* — гридин и т.д. Форма *болярин* предполагает первородное (утратившееся) собирательное *боляръ*; память его сохранилась в древнечешском *buřary* — храбрый, удалый; *buřarost* — храбрость, удалство. *Buřary* составлено из двух корней: *буй* — храбрый, безумный;; *яр*, *ярый*.

Как буква *у* в новогреческом *μπογιάρος*, так буква *л* в болгаро-сербском *боляре* есть не что иное, как евфоническая вставка. Сербы говорят *србин* и *срблин*; река *Barbana* в Далмации ныне *Војана* и *Војана* и т. д. К нам форма боярин перешла вместе с книгами Св. Писания от болгар.

Броня. «Наши брони не одно ли с шведским *brunior?*», – спрашивает Погодин. В самом деле, в средневековых германских документах встречаем слова: «*Brunea, brunia, bronia – logica*». В древнейшем Евангелии Отфрида (нач. IX века): «*Ist uns thas girusti, Brunia alafesti*». Слово *brunia, bronia*, не имеющее корня в германских наречиях (ибо его этимология от британского *bron-mamma* более чем сомнительна), вероятно, проникло в Германию славянским путем. У чехов *břn* – панцырь; *broń* – по-польски оружие; *bronіć* – защищать; у нас – *бронити* и *боронити*.

Вервь. Взятое в смысле округа слово *вервь* означает еще и ныне у крестьян Архангельской губернии поземельную меру 850 квадр. саж. Веревками и жердями мерили все в мире народы. Гейзерих делил веревкой землю. Победенная Нормандия размежевана по веревке Роллоном. Что такое: *de pratis duodecim worpal*, спрашивает Гримм. Не наше ли славянское *вервь*? срвн. «от Елизара шло пять *вервей*, а другая пять *вервей* шла от Онтоня».

Весь. «Въ онъже аще (колийждо) градъ или *вьсь* внидете, испытайте, кто в немъ достоинъ есть». *Wes* по-чешски, *wieś* по-польски, *vás* по-краински – деревня, село. Смерды-владельцы в Богемии назывались *wiesnicy, villani*.

Вира. Г. Срезневский указывает на хорватское *вира* — вольная оценка, вольный переход; *завирити* — обязать задатком или залогом; *веровати* — обвинять, в Записке о правах дубровницких купцов (XIII—XIV века). В самом деле, по смыслу *вира* и *вина* однозначущи в русской юридической терминологии; вместо *мыта* списки Воскр., Ник. и Соф. читают вины: «Не платить вины нивчемже». В Лавр. сп. о русских детских под 76 г.: «Они же много тяготу людемъ симъ створиша, продажами и *вирами*»; Радз. и Троицк., читают: «*винами*». «Обычай откупаться за убийство существует в Черногории и донине, – говорит Булгарин, – это называется: послать на веру».

Напрасно, стало быть, к тому же и в ущерб самой себе относит норманнская школа слово *вира* к перешедшим будто бы к нам из Скандинавии. Карамзин указывает на шведское *ога*; но *ога* (у датчан *oge*) означает не пеню, а монету или часть денежного фунта; да и едва ли переход формы *ога* в русское *вира* будет согласен с законами строгой лингвистики. Погодин приводит германское слово *wehrgeld* (в древнегерманских памятниках *wiregildum, wirgildum, wirgildi – wirigelt, wirgelt*); но это слово не встречается ни в простой, ни в составной форме в скандинавских законах, за исключением *vereldi*. Техническое выражение древнескандинавского права для пени – *bot*; в древнешведских законах *morðgiald, sporgiald*. Сага Олафа Тригвасона передает русское *вира* скандинавским *boe-tur*. *Вира*, если допустить ее происхождение от *германского* *wirgelt*, указала бы не на сношения Руси с норманнами, а вендских славян с германцами и Руси с балтийским Поморьем.

Волхв. У скандинавов Alfve. «*Се волсви* отъ востокъ приидоша во Иерусалимъ». В истории взятия Трои: «Класъ (Калхасъ): низокъ, тонокъ, чистъ, седь главою и брадою кудрявою, и *вълховъ* и кобникъ хитръ». Черноризец Храбр: «А персомъ и халдеомъ и асиреомъ звездочтение *вълшвление*, врачевание, чарования и все хытрость человека». В Супрасльской рукописи XI века: «*вълхвовате и вълхвъ*».

Вено. У Погодина от скандинавского *Vingaef*. На древнесакском *morgen gifa*. Источники польского права употребляют выражения: *dos, donatio propter nuptias, parapherna*; в польском переводе: *wiano, danina, dziedzina wzelka, wyprawa*. Чешское право знает *wěno* и *dziedziny wienne*. В силезском праве: *Dothalicium propter nuptias, quod vulgariter Wueno nuncupatur*.

Гривна. «Что за слово гривна? – спрашивает Погодин. – Оно употребляется в разных славянских наречиях и встречается в славянском переводе Библии, но давно ли? есть ли оно в древних списках?». Воцель производит слово *гривна* от гривы, санскр. *grīwa*. В древнепольском праве *grzywna* означает марку. У литовцев: «*Griwina – marca, quae 20 grossos*».

Грид, гридьба, гридин. Мы находим у Круга особую статью о *гридьбе* при первых русских князьях; он производит русские *гридьба, гридин* от Hirdmenn'ов, телохранителей скандинавских конунгов.

Совершенно правильно относит г. Срезневский слово *гридь* к всеславянскому *громада*, у хорутан *грида*, означаящим собрание людей, дружину. *Гридити* — быть в сборе. Подобно князьям, города имели свою гридь или гридьбу.

«И новгородьци... идоша съ княземъ Ярославъмъ, огнищане, и *гридьба*, и купщи». «Онъ же (Мстислав Ростиславич) приеха Ростову, совокупивъ ростовци и бояре, *гридьбу* и пасынки, и всю дружину, поеха къ Володимерю». Гридь, стало быть, то же, что стража, дружина; *гридин от гриди*. На Руси это древнеславянское слово отозвалось во множестве личных и местных имен: «...У Олешки да у *Гриди* у Никитиныхъ детей»; деревня *Гридинское*, *Гридское* болото, деревня *Гридино*. *Гридя* Мельников. *Гридко* Возило. У чехов в грамоте 088 г. *Grid*; под 026 *Gridon*; под 055, *Gridata*.

Коляда. Как слово *коляда*, так и обряд *колядования* существуют у всех славянских племен; этого одного уже достаточно для полного опровержения предположения Круга о происхождении *коляды* от скандинавского Jolessen. Круг замечает, однако же справедливо, что это слово не имеет корня в славянских языках, но заключать отсюда о его скандинавизме невозможно, не доказав предварительно: 1) что слово *коляда* и обряд *колядования* не существуют на Руси, ни у прочих славянских народов до второй половины IX века, т. е. до призвания варягов; 2) что языческий обряд *колядования*, вместе со словом *коляда*, перешел к чехам, сербам, ляхам, краинцам, хорватам и пр. или от скандинавов, или от онорманившейся руси. Слову *коляда* приискивали и другие этимологии; его приводят обыкновенно в связь с латинским *calendae*, французским *chalendes*; и действительно, нельзя не признать сходства между обрядом русских святок и языческими каландами Древнего Рима и христианскими средних веков. Между тем, уже общность обряда *колядования* у всех славянских народов указывает на источник древнее римского; выводы лингвистические подтверждают предположение г. Буслаева о следах древнейшего геродотовского предания в обрядах и повериях, справляемых на празднике *коляды*; и слово, и отчасти сам праздник от древнегреческого источника. Существенная особенность *колядования* состоит в хождении *славить*; святочных песен — в припеве *слава*. В одной из древнейших этих песен сохранился в своей первобытной форме древнегреческий припев, соответствующий нашему переводному *слава*. Я выписываю эту песню, представляющую поразительное описание древнеэллинского вакхического жертвоприношения.

За рекою за быстрою, ой калиодка
Леса стоят дремучие,

.....
В тех лесах огни горят,
Огни горят великие.
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые;
На тех скамьях добры молодцы,
Добры молодцы, красны девицы
Поют песни *калиодушки*.
В середине их старик сидит;
Он точит свой булатный нож;
Возле его козел стоит.

Теперь, что такое припев: *ой калиодка*; что такое: песни *калиодушки*? Я думаю, не что иное, как греческий припев – *ὦ μάλῃ ὡδή*. Известно специальное значение слова *какое*, в древнегреческом язычестве. Припев *ὦ μάλῃ ὡδή* отражается в названии праздника лаконской Артемиды. От греческого *ὦ καλή ὡδή* – наши *ой калиодка*, песни *калиодушки*; от *καλαοῖδια* – общеславянское *коляда*, песнь славления.

Обел, (круглый, полный) – обло; сферическая форма – обельство, *obly* (česk.) – овалы. Зажиточные крестьяне в Мораве именовались *obilny*; в Стирии у крайнцев и у хорутан *obiln* – полный.

Скот. Это слово производят обыкновенно от шведского *skatt*, сокровище, подать, плата. «Если это шведское слово, – спрашивает Каченовский, – то как оно попало и к полякам; *scotus* – *scojes* содержал в себе $\frac{1}{24}$ часть гривны, или 2 гроша». Мы находим его и у чехов и в Силезии. Как куна от куницы, так скот от скота. Погодин замечает: «Скот, скотина, – слова русские; но есть ли малейшее указание в памятниках, песнях, языке, чтоб скотом когда-нибудь назывались у нас деньги, скотницею – казна. Так можно ли сомневаться, что в словах летописи это слово есть норманнское *skat*, а не наше». Слово *скотница*, как общеупотребительное, встречается по несколько раз в летописи: «Повеле (Владимир) всякому нищему и убогому приходить на дворъ княжъ и взимати всяку потребу, питье и яденъе, и отъ *скотьницъ* кунами». «И ту дворъ Святославль раздали на 4 части, и *скотьницъ*, бретьяницъ, и товаръ, иже бе не мочно двигнути» и пр.. У Востокова: «*Скотница* твоя по Божей благодати нескоудна есть и неистоцима». На каком же основании выдавать за норманнское слово, признаваемое чисто славянским у поляков, чехов, балтийских славян? Осторожный Гримм этого не сказал.

Смерд. Протоиерей Сабинин объясняет слово *смерд* из скандинавского: «*Smaerd*, *parvitas*, *res parvi momenti*, *homo pauci*». В *Шестодн. Экс. Болг.*: «Яко же бо и *смордаа* чедь внешнеа» и пр. По всей вероятности, слово *смерд* перешло в германские языки от славян.

Тиун, тивун. Это слово, скорее сродное с древнесаксонским *ðeng* или *ðeing*, *thingus* – *minister*, *baro*, чем со скандинавским *rîon* – *servus*, могло перейти к нам вместе с другими германскими (см. гл. IX) от вендских славян; Розенкампф указывает на встречающуюся в разных списках Р. Правды форму *тиен* вместо *тиун*. Слово *tywun*, *ciwun* сохранилось и донныне в польском языке и означает окружного начальника и воеводу.

Щляг и стерляг. Нет сомнения, что этимологической основой нашим *щляг* и *стерляг* служат германские *schilling* и *sterling*. Но тоже германское *schilling* находим и у польских славян под формой *szelag*. Что к нам шиллинги зашли не норманнским, а польским путем, видно ясно из летописи. Щлягами платят дань *только два ляшские племена*, радимичи и вятичи. «И въдаша (радимичи) Ольгови по *щлягу*, якоже козаромъ даху». «Они же (вятичи) реша: козаромъ по *щлягу* отъ рала даемъ». Как самая монета, так и способ взимания дани указывают на польский источник; *radlo* у поляков и чехов – *плуг*. Погодин пишет по недосмотру «щляг радимичей и *древлян*». Древляне платили кунами. Замечание г. Куника, что «слова щляг по фонетическим причинам нельзя производить от польского *szelag*», мне кажется тем произвольнее, что там, где Лаврентьевский список пишет *щляг*, списки Ипат., Хлебн. и Троицк, читают: *щеляг* и *шеляг*.

В Арханг. списке летописи сказано о вятичах: «Козаромъ по *стерлягу* *отчю* отъ плуга даемъ». Слово «отчю», которое Шлецер считал необъяснимым, а Круг производил от *очага*, взято здесь в смысле *отечественного, народного* и означает *национальную* монету вятичей-ляхов.

Ябетник. У Круга: *ambaht*, *ambacht* – *minister*. Уже Эверс указывал на польское *gabać* – настаивать, беспокоить. Еще ближе к русскому *ябетник* чешское *gebati* – резать и поносить; польское *gebaty* – крикливый, злоязычный. В белградском прологе у Миклошича: «оклеветани быше отъ индикта *ябѣдника*».

Как видно, Круг негодовал понапрасну на Академию наук за то, что, допуская в славянском языке *греческие* слова, перешедшие к нам вследствие принятия христианской веры, *татарские* — вследствие монгольского ига, она не склонялась на убеждение, будто бы в раннейшие времена Русского государства было принято в язык одного большое количество германских слов, которые отчасти исчезли со временем, отчасти сохранились до наших дней. Приведенных г. Срезневским и мною примеров достаточно, чтобы увериться в том, что русский язык не принял от скандинавского ни *одного слова*. А в таком случае, где значение выводов Круга о влиянии норрены на наш язык, о двух языках — норманнском и славянском — в Новгороде и при дворе русских князей, о норманнском письме на Руси и т.д.?

Что о языке, то самое можно сказать и о мнимонорманнском влиянии на государственное устройство Руси. Пусть будут китайцы вместо норманнов, значение для русской истории статьи Круга от этого не изменится. В этой статье он сознает, что главным побуждением призвания варяжских князей было высокое их рождение; что древнее право новгородцев, вследствие заключенных условий, оставалось неприкосновенным; что Киев и южная Русь завоеваны варягами, почему и должно принять отличие в управлении землею, завоеванною от управления призывавшими племенами и т.д. Но в чем, в каких особенностях государственного быта Руси проявляется норманнство завоевателей, какие норманнские учреждения перешли к нам, почему русская история не знает ни деления земли, ни ленной системы, ни гильд, ни городских общин и пр., об этом не говорится вовсе; а о Новгороде должно заметить, что до Ярослава его положение в отношении к южной Руси и варяжской династии было совершенно второстепенное, угнетенное; чему доказательством могут служить варяжская дань, установленная Олегом; две тысячи гривен, платимых от Новгорода Киеву уроком от года до года; ответ Святослава новгородцам о князе и т.д.

Из особенностей русского язычества, за исключением совершенно бесцветных примечаний к известиям Ибн-Фоцлана, Круг приводит только общее славянским племенам, не с одними норманнами, но и со многими другими языческими народами обыкновение клясться оружием; у болгар оно существует и после принятия христианства; о боготворении оружия у вендов см. *Giesebr. W. G. I. 64*; но, выписывая из текста летописи слова: «По русскому закону кляшася оружием своимъ, — Круг забывает или выпускает следующие за ними, — и Перуномъ богомъ своимъ, и Волосомъ скотнымъ богомъ». Замечательный пример исторической осторожности!

Г. Куник, допуская, что только немногие норманнские слова перешли в восточнославянский язык, считает эти слова тем более знаменательными, что они относятся к учреждениям и званиям, которые не могли существовать на Руси до основания государства; но какие это были учреждения и звания — оставлено в неизвестности, а из предполагаемых к объяснению слов указано только на два: *верста*, будто бы происходящее от шведского *rast* — покой, путевая мера; срвн. готское *rasta* — миля, германское *rast* — промежуток времени и пр., и *луда*, принадлежащее, по мнению Шегрена, к шведскому диалекту. Г. Куник писал до появления в свет сочинения г. Срезневского *Мысли об истор. р. яз.*, в котором существование слов *верста* и *луда*, при этимологическом их значении, доказано во всех славянских наречиях. К частным значениям слова *верста* в славянских языках можно прибавить *размер* вообще: «Въ коую *врѣстоу* доуша силнеишии телесе ктъ?» и *возраст*: «Се благоверный и христолюбивый князь Андрѣй отъ млады *версты* Христа возлюбѣ». *Луда* как у нас, так и у хорватов — покров; *лудити* — покрывать; срвн. *москолудство* вместо мужеложство(?) в поучении Луки Жидаты.

Из других доказательств, относящихся к вопросу о влиянии норманнов на древний быт Руси, я нахожу у г. Куника только следующие:) Освобождение варягами от хазарского ига полян, северян, радимичей, вятичей; ослабление хазарской державы при Святославе и Владимире. Мнение о норманнстве варягов-избавителей основано на той данной, что только

одни воинственные норманны были в состоянии сломить тюркскую силу; славяне же оставались спокойными зрителями борьбы, заменившей для них хазарское иго норманнским. 2) Намек на прежние завоевания и воинственность руси (норманнской) в речи Святослава у Льва Диакона. Слова Святослава: «Погибла слава русского оружия, победившего без труда соседние народы и покорившего целые государства без кровопролития, если ныне постыдным образом сдадимся грекам» – эти слова могут относиться только к покорению норманнами славян и финнов. 3) Вера Святослава и его сподвижников в Валгаллу. Лев Диакон говорит о русском поверии, будто бы руссы, убитые в сражениях врагами, служат в аду рабами своим победителям. 4) Присутствие дев щита (скандинавских *skjaldmeyjar*) в войске Святослава; факт, будто бы засвидетельствованный следующими словами Кедрина: «При разоблачении убитых варваров (русов) греки нашли между убитыми женщин в мужской одежде; они сражались против них вместе с мужьями».

Вероятно, и сами норманисты не придают особенного значения историческим доказательствам, основанным на риторических фигурах Льва Диакона или взятым из общих мест о воинственности норманнов. К особенностям, заслуживающим внимание критики, можно отнести только народное поверье о состоянии после смерти душ русов, убитых врагами – и участие в битвах русских женщин. Что Лев Диакон плохо понял сообщенное ему о поверье руси – очевидно; религиозная система, обрекающая на вечное замогильное рабство убитых в *сражении* врагами – немыслима; не говоря уже о словах летописи: «мертвый бо срама не имам». Рабами своим победителям после смерти могли служить только те из руси, которые отдавались в плен и – либо умирали в плену, либо были приносимы врагами в жертву чужим богам. Сами русь, по свидетельству Льва Диакона, убивали пленников над кострами, в которых сожигались их падшие воины, и г. Куник, кажется, вполне справедливо относит этот обычай к поверью, что закланный должен служить в аду рабом своему врагу. За исключением не слишком ясного намека о чем-то подобном в древней Эдде, можно утвердительно сказать, что это поверье чуждо языческим представлениям норманнов; о нем не знает и Гримм, так глубоко изучивший германскую и северную мифологию. К нам (если не отнести его к коренным славянским верованиям) оно могло перейти и от венгров, с которыми, как увидим, русь находилась в тесных связях до их переселения в закарпатские земли. Вполне согласными с известием Льва Диакона являются слова Игорева договора: «И иже помыслить отъ страны Рускиа разрушити таку любовь... да будутъ раби въ весь векъ, въ будущий». Грекам было, вероятно, известно это поверье славянских народов; для устрашения руси они казнили русских пленников.

О мифических девах щита рассказывает много невероятного Саксон Грамматик. То, что Кедрин повествует о русских женщинах X века, говорит почти теми же словами патриарх Никифор о славянских женах при императоре Ираклии в 626 году. Известно, что славяне брали жен и детей с собой в поход. Саксон Грамматик упоминает в числе участников в знаменитой Бравалльской битве о славянской амазонке Визне. Как свидетельство о воинственном духе славянских жен, предание о чешском Девине имеет значение положительного исторического факта.

В более широких против своих предшественников размерах излагает Погодин в третьей части своей книги те особенности русского исторического быта, которым он приписывает норманнское происхождение. Как финский, хазарский, греческий элемент, так и норманнский имеет в ней свое место, и место, конечно, значительное; точка опоры, стало быть, существует. Дело в том, принадлежит ли норманство в русской истории к явлениям случайным или основным?

К явлениям случайным (если бы и считать их существование вполне доказанным) отношу я норманнские браки наших князей, сообщения со Скандинавией, военную помощь от норманнов. Эти особенности – естественное последствие нашего соседства со скандина-

вами; они в нашей истории общи норманнам с печенегами, половцами, греками, немцами, ляхами, венграми и т. д.; сверх того, как значение, так и самый объем их крайне преувеличены. Я не могу допустить в доказательство норманнских браков наших князей основанного на одних подобозвучиях имен скандинавского происхождения Ольги, Малуши и Рогнеды. Скандинавские саги не знают о Рюрике, Олеге, Игоре, Святославе; а о Владимире, знаменитом и по всему северу прославленном Гардском династе, нигде не сказано, чтобы он состоял в родстве с норманнскими конунгами; такое молчание (при заботливости, с которою саги выводят генеалогию своих князей) тем более подозрительно, что в исчислении жен Владимира и наш летописец не знает ни шведской, ни даже варяжской княжны. Конечно, Нестор мог позабыть и даже не знать о норманнской супруге Владимира; если в числе его жен были грекия, чехиня, болгарыня, – могла быть и норманнка; но от возможности до достоверности далеко; мы увидим в своем месте, что должно думать о мнимоскандинавском происхождении Аллогии, мнимой супруги Владимира.

Как у вендских славян со времен загадочного Борислава, так у русских родство между варяжским княжеским домом и северными конунгами начинается с Ярослава и Ингигерды. Олаф Святой был женат на Эстреди. Теперь, было ли супружество Ярослава с Ингигердой делом случая или следствием отношений Олафа Шведского и самого Ярослава к родственным им вендским князьям – решить мудрено; оно замечательно в нашей истории как исходный пункт теснейших родственных сношений между киевскими и северными государями. При Владимире скандинавские саги знают на Руси только двух норманнов-дружинников; Сигурда и племянника его, известного Олафа Тригвасона; при Ярославе Олаф Святой ищет убежища в Киеве; Гаральд Гардред, его сводный брат, женат на дочери Ярослава Эллизифе; являются воины-промышленники Рагнвальд, Эймунд, Рагнар, Эйлиф и т. д. Как шведский Олаф отправляет своего сына Эмунда в Виндландию, так Олаф Святой поручает Ярославу и Ингигерде сына своего Магнуса; так Вальдемар, сын Кнута Лаварда и Ингебиарги, вырастает при дворе русского князя Мстислава. Скажу более; при отношениях Руси и балтийского Поморья к Скандинавии, нет сомнения, что частые браки между русинами и норманнками (и наоборот) имели место и в прежние времена; на внутренний быт словенорусского общества эти случайные союзы и сообщения со Скандинавией оказываются без влияния. Олаф Тригвасон, Магнус, Гаральд Гардред для нас иноплеменики; Эйнар называет Русь *terra incognita*; Олаф Тригвасон, являсь в сновидении Олафу Святому, укоряет его в принятии даров и владений от Ярослава, иноплеменного и неизвестного князя. Отправляя посольство в Голмгардию к Гаральду (Мстиславу Владимировичу), внуку Ингигерды, сыну английской Гиды и супругу шведской Христины, Кнут Лавард избирает в послы Видгота. Не то знают северные саги и франкские летописцы об отношениях норманнов к своим западным родичам. При сравнении этих свидетельств скандинавских и западных источников с совершенным молчанием саг и русской летописи о норманнском происхождении варяжских князей довольно неловко выводить род их из Швеции.

Увлекаясь законами исторических аналогий, Погодин приводит в подкрепление своему мнению о единоплеменности руси и норманнов военную помощь, которую русские князья получали от варягов (в его убеждении, чистых скандинавов) и отождествляет это историческое явление с тем, что нам известно об отношениях норманнов к их поселениям в Англии и во Франции. Между тем, различие очевидно. Англия и Нормандия были общескандинавским, национальным приобретением. Здесь, в землях, ими завоеванных, выселения из Скандинавии норманнских викингов не умолкают в продолжении двух с лишком столетий; по первому зову своих соотечественников норманны стремятся толпами на помощь Роллонову внуку Рихарду, против франкских королей Людовика и Лотария; скандинавские язычники помогают христианским герцогам. Дело шло о сохранении общенорманнского завоевания; о борьбе скандинавского начала с сакским или галло-франкским. Ничего подобного не видно

у нас. Норманнского завоевания у нас не было; из славянских племен только некоторые восстают против варяжской династии; еще менее против небывалой варяжской руси; территориальных приобретений у нас норманнам отстаивать не приходилось. В двух греческих походах (Олега и Игоря) варяги являются союзниками руси наравне с печенегами; затем не иначе как по найму и малыми шайками. Саги знают не о наводнении Руси норманнами, а об отдельных дружинниках-наймитах в Гардарикии; такие же промышленники (иногда те же самые, напр. Олаф Тригвасон) встречаются и у вендов. Скальд Тиодольф не умолкает в похвалах Эйлифу и Гаральду за их умение вымучивать добычу и значительную по возможности плату от своих доверителей; Эймундова сага есть не что иное как развитие того же денежного чувства в большем размере. И русская летопись рассказывает об алчности варягов, которых нанимали Владимир и новгородцы: «Реша варязи Володимеру: се градъ нашъ, и мы прияхомъ е, да хотимъ имати окупъ на нихъ, по 2 гривне отъ человека». «Начаша (новгородцы) скоть сбирати отъ мужа по 4 куны, а отъ старость по 0 гривенъ, а отъ боярь по 8 гривенъ; и приведоша варягы, вдаша имъ скоть, и совокупи Ярославъ воя многы». Все это весьма далеко от образа действий норманнов в их поселениях на западе; о случайности норманнского кондотьерства у нас знал уже и мерзебургский епископ (976—09).

Напрасно, стало быть, относит норманнская школа к мнимоскандинавскому происхождению варяжских князей то обстоятельство, что по основании государства, вследствие дружеских и родственных отношений между обоими народами, норманны будто бы не делают более нападений на восточные славянские земли. Не говоря уже о том, что скандинавские викинги не отличались особою сентиментальностью, а в мирных сношениях с русью находили для себя несравненно более выгод (по торговле и службе), чем в отношениях враждебных, я могу указать на положительные свидетельства о норманнских набегах на словено-русские владения, на войны руси с норманнами как в первые два столетия по основании государства, так и позднее. Эрик опустошал северную Русь во времена Владимира. Новгородская летопись свидетельствует о непрерывных войнах Новгорода с шведами; на шведские набеги новгородцы отвечали русскими; в 87 году они вместе с чюдью разорили знаменитую Сигтуну на Меларском озере.

К явлениям основным можно отнести только обнаруживающие неперенные следы преобладания одной народности над другой; таких следов норманнства в русской истории не существует. О языке мы это уже заметили выше; до какой степени, будь сказано мимоходом, лингвистический вопрос существенно важен в спорном деле о происхождении Нестеровых варягов-руси, видно из упорства, с каким представители норманнского мнения (вопреки ясным до очевидности доказательствам противного) держатся своих отживших псевдоскандинавских этимологий. Еще в прошедшем 874 году по поводу мнимого происхождения всеславянской *дружины* от шотландского *to drug*, ирландского *drugaire*, саксонского *draggen* Погодин писал: «По-моему – все наши древние до управления, до гражданского устройства относящиеся слова суть норманнские, в чем я вижу и одно из крепких доказательств норманнского происхождения варягов-руси: бояре, тиуны, гридни, гости, смерды, люди, ябетники, верви, дума, губа, вира, ряд, скот, гривна, стяг... В мужах княжих, отроках и детских, добрых людях, дружине, рабиниче, огнищанах, закупах слышится перевод. Есть исследователи, не признающие норманнства в некоторых из этих слов, и я согласен, что можно благовидно это доказывать: но в совокупности их с прочими, *бесспорными*, в согласии со всеми обстоятельствами, они или понятия к ним у нас присоединенные, представляют для меня, *кто б что ни говорил*, важное доказательство». Покуда не будет выяснено, каким образом из мнимоскандинавских слов, будто бы вошедших в русский язык, большая часть обретаётся и у прочих славянских народов, остальные же просто и без натяжек объясняются из славянских этимологий, историческая логика не может допустить норманнства в словенорусском наречии; излишним считаю оспаривать мнение и тех представителей норманнской школы,

которые производят русский язык от скандинавского или находят в нем смесь скандинавского с финским.

В области права главные доказательства, на которых автор «Исследований» основывает свое мнение о влиянии норманнов на Русь, исчезают (по крайней мере для антинорманистов) вместе с мнимоскандинавским происхождением слов *боярин*, *вервь*, *гость*, *дума*, *людин*, *огнищанин*, *смерд* и т. д. Остается отысканный Струбе в Русской Правде закон о езде на чужом коне, являющий неоспоримое сходство с одинаковым законом в *Judtsche Lowbok* III. 54. «Ютландский закон, – говорит Карамзин, – *новее* Ярославова; но сие сходство доказывает, что основанием того и другого был один древнейший закон скандинавский или немецкий». Почему? Розенкампф указывает на статью в греческих правилах в Кормчей книге, еще ближе ютландской подходящую к русскому подлиннику; Тобиен полагает, что как эта, так и другие статьи о коне перешли к германцам от славян; о скандинавах в особенности должно заметить, что до XII века они не знали верховой езды. Денежные пени, суд двенадцати присяжных, испытание железом, судебные поединки существуют у всех славянских народов наравне со скандинавскими. О пнях свидетельствует Дитмар. Пень за голову (*caputglowa*) основана, по мнению Лелевеля, на древнейшем польском и силезском праве; у чехов эта пеня именовалась *пороком*. О суде 2 граждан читаем у Богухвала; у чехов эти судьи именовались *кметами*. Мартин Галл свидетельствует о *двенадцати* советниках Болеслава I; Вельский именует их судьями. Испытание железом и водой находим у Козьмы Пращского. Ордалии существуют во всех славянских землях с наидревнейших времен. Поединков, основанных на обязанности мстить за оскорбление, нанесенное словом или действием, у нас не было; и в позднейшей Русской Правде нет следов постановлений о словесных обидах. О поединках, имевших целью оправдание или решение спорного иска, знают Ибн-Даста и Мукаддеси в X и XI столетиях; такие судебные поля общий всем славянским народам обычай. Погодин указывает на единоборство Яна усмошвеца с печенежиным; Мстислава с Редедю; подобных примеров можно найти не один и у прочих славянских народов; о единоборстве между вендом язычником и саксонцем христианином при императоре Конраде II читаем у Виппо. Я умалчиваю о баснословном единоборстве Старкатера с Русином и Ляхом Васце или Вильце. Круг находит в словах Льва Диакона о русах Святослава указание на скандинавский обычай *голмганга*. Но это известие относится, конечно, не к поединкам, для которых у греков есть особое слово. Слова Льва Диакона: «И доньне тавроскифы (русь) обыкли рассуждать свои несогласия *убийством* и *кровью*» указывают на мирские сходки у славян, где кровь нередко лилась ручьями, как еще в позднейшие времена на польских сеймах. Ламберт Ашафенбургский представляет нам яркую картину кровавой сходки лутичей в 073 году.

О вражде между концами Новгорода, насилии и убийствах на вечах сохранилось немало свидетельств и в наших летописях.

В основных положениях и духе русского права нет и тени норманства; о древнем праве кровавой мести это обстоятельно выведено у Тобиена. Круг сознает, что многое как в Русской Правде, так и вообще в древнерусском государственном устройстве совершенно противно тому, что известно о законах и учреждениях германских племен. У всех славянских народов находим одну и ту же, в основных статьях, юридическую терминологию; те же существенные коренные отличия от германского мира в отношении к утвержденному на родовом начале праву преемства, к значению женщины, к положению рабов. Замечательно, как в нашем, так и в других славянских правах отсутствие тех изумительно разнообразных и зверских казней, о коих свидетельствует каждая строка уголовных германских законов, – не знает ни телесных наказаний, ни смертной казни.

Одного, даже поверхностного взгляда на начала русского язычества достаточно для определения разноплеменности руси и норманнов. Русские князья Олег, Игорь и их сподвижники клянутся *по русскому закону* Перуном и Волосом. По возвращении из варяжских

земель Владимир ставит кумиры Перуну, Хорсу, Симарглу, Мокошю, Дажьбогу и Стрибогу. Шлецер, Круг и г. Куник молчат об этих сокрушающих фактах; Погодин решается признать Перуна и Волоса скандинавскими божествами.

Летосчисление у всех славянских народов начинается с марта, а не с сентября, как у греков; следовательно, нет причины считать его заимствованным у норманнов.

Об одежде руси сохранилось любопытное известие у арабского писателя начальных годов X века Ибн-Даста: «Шалвары носят они (русь) широкие; сто локтей материи идет на каждый. Надевая такие шалвары, собирают они их в сборки у колен, к которым затем и привязывают». О норманнах известно, что они носили узкое исподнее платье, какое и видим на рисунках ковра герцогини Матильды.

Я не продолжаю этого утомительного разбора; как русский язык, русское право и религия, так и народные обычаи, действия первых князей, военное дело, торговля и пр. совершенно свободны от влияния норманнского. Многие из мнимоскандинавских частностей русского быта будут для нас еще и впредь предметом дальнейших, отдельных замечаний; общие места и произвольные выводы не требуют опровержения. Впрочем, что наша история в общем значении не допускает влияния норманнского начала на внутренний организм Руси, это сознает и сам автор «Исследований»: «У нас, — говорит он, — нет решительно ни одного характеристического явления западных историй, по крайней мере, в том виде; нет ни разделения, ни феодализма, ни убежищных городов, ни среднего сословия, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы».

Отсутствие следов норманнского влияния на Русь не объясняется различием призвания от завоевания; допускать основой государства у нас *любовь*, тогда как на западе ему положена *ненависть*, несообразно с понятиями европейских народов IX века. «Очевидно, — говорит г. Куник, — что дикие, грубые воины, каковы были норманны 844 и 866 годов, не могли (несмотря на заключенные условия) оставаться долго друзьями и защитниками славян и финнов». Но, допустив предположение Погодина, устранив еще и всем уже известные возражения против призвания враждебного норманнского племени, мы все-таки вправе спросить: почему норманнство не отозвалось в южной Киевской Руси? Киев не призывал варягов; норманнам следовало бы завоевать южную Русь. «Олег принят в Киеве без сопротивления», — говорит г. Погодин. Почему? какое было дело киевлянам до Олега, до варяжских князей (если они были норманны), до рода и до княжества Игоря? «Чувство, так сказать, призвания оставалось при виде этой беспрекословной покорности, которой обезоружено было даже зверство норманнов». Вследствие какой исторической логики беспрекословная покорность славянского народонаселения выражается, вместо восприятия, отсутствием норманнского влияния на Русь? И где данные, служащие основой подобной характеристике славянских народностей? Оставляя без ответа невинные мечтания исследователей, созидающих на свидетельстве Феофилакта о трех славянских гусях, какой-то идиллический славянский мир, в котором волынка заступает место меча, я обращаю внимание читателей на особую, характеристическую черту всех славянских народов, подмеченную как византийскими, так и западными летописцами, а именно на непреодолимую любовь славянского племени к независимости.

Покорение, или вернее истребление горсти вендских славян, брошенных судьбой между германскими племенами с одной, скандинавскими и Польшей с другой стороны, стоило германо-скандинавским народам четырехсотлетних кровавых усилий; что эти усилия не всегда были удачны, об этом знают и северные саги, и немецкие летописцы. История чехов, сербов, хорутан свидетельствует о непрерывной борьбе их с германскими и иными народами. Или восточная отрасль славянского племени проникнута особым духом миролюбия? На севере изгнание варягов, их избиение при Ярославе (чувство призвания здесь, видно, не оставалось), вековые войны с шведами, победы Александра Невского; на юге воины поло-

чан, древлян, уличей с Аскольдом; восьмидесятилетняя борьба древлян с Олегом, Игорем, Святославом; северяне побеждены Олегом; с уличами и тиверцами он ратует; вятичи и радимичи окончательно покорены только при Владимире. Где же тут беспрекословная покорность? где отсутствие завоевания? Впрочем, по мере надобности, норманнская школа изменяет свои положения. Шлецер принимает поочередно призвание и завоевание; Круг думает, что в землях, покоренных первыми Рюриковичами, норманны действовали в роде Кнудовых датчан в Англии. И об этом враждебном столкновении двух разноплеменных народностей, славянской и скандинавской, не сохранилось бы и намек у Нестора? ни следа в народной жизни, в преданиях? Об аварском иге в VII, о хазарской дани в IX столетиях свидетельствуют и летопись, и сказания, и народные пословицы; а иго норманнское, сопровождаемое всеми ужасами подобных явлений на Западе, прошло незаметно для народа, незаметно для летописи? Пусть сравнят варяжское завоевание у нас с германскими завоеваниями в земле прибалтийских славян; летопись Нестора с известиями Эйнгарда, Дитмара, Гельмольда; народные русские песни и Слово о полку Игореве с поэмами кралодворской рукописи!

В последнее время стали искать согласования этих исторических невозможностей в немедленном слиянии обоих начал или, лучше сказать, в поглощении норманнского элемента славянским. В IX веке, думает г. Соловьев, национальности германских и славянских племен еще не выработались, а потому и не могло быть и сильных национальных отвращений; поклонник Тора так легко становился поклонником Перуна, потому что различие было только в названиях и т.д. Г. Ламбин полагает, что горсть иноплеменной варяжской руси переродилась в славян еще при жизни Олега; сам Олег, утверждая в 907 году договор с греками, по всей вероятности, не для виду только, не притворно, а уже сознательно и по убеждению клялся Перуном и Волосом как своими богами. Г. Куник в дополнениях к «Каспию» г. Дорна также не признает антагонизма между норманнской и славянской народностями в IX—X веке; норманны, говорит он, уже вследствие незначительного своего числа и по недостатку норманнских женщин рано стали сливаться с туземным элементом и во втором поколении, вероятно, лучше говорили по-славянски, чем по-шведски.

Конечно, малочисленность сподвижников Рюрика, отсутствие всяких следов норманнского влияния на внутренний быт Руси, преобладание туземного славянского начала над занесенным из-за моря варяжским – исторические факты, в действительности которых, при современном положении науки, уже не позволено сомневаться; между тем, едва ли можно признать удовлетворительными приводимые им, с точки зрения норманнской теории, объяснения. Антагонизм народностей не изобретение новейших времен: о язычниках саксах, о норманнах, опустошавших прибрежные германские земли, франкские летописцы никогда не отзываются с той ненавистью и высокомерием, как о славянах. Олеговым норманнам в 88 году не было никакого следа обращаться с покоренными полянами, радимичами и пр. иным образом, как в 896 норманны Рольфа обращаются с покоренной Неустрией. Становясь поклонниками Перуна и Волоса, норманнские конунги тем самым отрекались от своих родословных; Инглинги вели свой род от Одина. Еще в конце X века человеческие жертвы были в полной силе у киевской руси; победоносные норманны не согласились бы приносить чужим богам, давно уже вышедшие у них из употребления человеческие (на собственных их детей падавшие) жертвоприношения. Вообще промена одного язычества на другое не знает никакая история. «В Нормандии, – говорит г. Куник, – норманны чрезвычайно скоро разучились своему языку». Этого нельзя сказать положительно; современные хроники о норманнах в Нормандии писаны не как наши на туземном наречии, а на латинском, все национальные идиотизмы сглаживающем языке. Вильгельм I герцог нормандский посылал своего сына Рихарда в Баиё для изучения скандинавского языка. Вследствие принятия христианской веры и под влиянием подавлявшей их своим превосходством галло-франкской цивилизации норманны со временем отказались и от своих обычаев и от своего языка; зато силою

навязали и свои новые обычаи, и свой новый язык стоявшим на низшей против них степени образования британцам.

Ни в каком случае норманнская школа не выиграет от данного ей старому делу нового оборота; принимая быстрое поглощение скандинавского элемента славянским, она должна вслед за тем отказаться от всего, что до сих пор составляло ее мнимую силу. Ибо какой смысл имеют для совершенно ослабяившейся руси 950 года норманнские названия днепровских порогов у Константина Багрянородного? О каких норманнах-русах говорит в 958 году Лиутпранд, если русь Игоря и Святослава давно уже позабыла о своем норманнском происхождении, поклонялась Перуну и Волосу, говорила не норреной, а чистым словено-русским наречием? Какого норманна-русина приводит в противоположность покоренному славянину Русская Правда около 1020 года? Значение этих свидетельств в вопросе о скандинавском происхождении руси обуславливается прежде всего полным отчуждением до половины XI столетия норманнского элемента от славянского; при новой теории о быстром слиянии обоих начал норманнская школа теряет свои (по-видимому) надежнейшие точки опоры. Это признавал, кажется, и г. Куник, когда (не отрекаясь, однако же, от прежде им сказанного) он писал: «Не к слишком ли раннему времени мы отнесли окончательное слияние варяго-руси со славянами и не более ли правдивым будет мнение М.П. Погодина?»

Не одна история, – наука, действующая с математической определенностью, – нумизматика представляет со своей стороны веское доказательство против мнения о норманнстве варягов.

До 847 года монеты англо-саксонские и германской империи найдены в России вместе с куфическими только в двух кладах: 264 англосаксонских Кнута, Этельреда и других королей в Ораниенбургском уезде С.-Петербургской губернии и серебряные немецкие деньги императоров Оттона II, Оттона III и Гейнриха близ города Владимира на Клязьме; сверх того, одна англосаксонская монета 1040—1066 гг. в Псковской губернии близ города Холма. В кладах, открытых после 847 года в С.-Петербургской, Псковской, Московской, Владимирской, Смоленской, Ярославской, Вологодской и Пермской губерниях, найдено еще несколько немецких и англосаксонских монет, но всегда, замечает г. Кёне, не в большом числе. В южной России их не найдено почти вовсе. Напротив, «в наших *остзейских провинциях*, в Швеции, Дании и Германии, они (т. е. англосаксонские и немецкие монеты) находятся вместе с куфическими, по крайней мере, в четвертой части всех найденных кладов».

Откуда это различие между русскими и остзейскими губерниями? это сходство в составе кладов остзейских губерний и кладов, находимых в Швеции, Дании, Германии?

По всей вероятности, Эстляндия завоевана северными викингами в начале X века; Аландские острова и Лифляндия еще прежде. О раннем поселении норманнов в этих землях свидетельствуют, кроме саг и исторических известий, влияние шведского на финский и эстский языки, существование шведского наречия на островах эстляндского Поморья, явное физическое отличие между потомками шведов и эстов на острове Куноё, наконец, *языческие* шведские названия разных местностей в остзейских землях; явления, будь сказано мимоходом, которым следовало бы проявиться и у нас, если бы государство было основано норманнами. Здесь, стало быть, в этих прибалтийских землях норманны были у себя дома; здесь они селились, жили, и по этому состав кладов, находимых в остзейских губерниях, представляет те самые особенности, какие встречаем в кладах, вырывааемых в самой Скандинавии; вместе с арабскими диргемами, монетами, приобретенными путем восточной торговли, встречаются во всех кладах и монеты западные, англосаксонские, свидетельствующие о постоянной связи с норманнскими поселениями в Англии. У нас этого явления нет или оно очень редко и встречается только в малых размерах, потому что норманны в Руси не селились, а только проезжали через Русь для торговли; за пушной и иной товар они получали плату арабскими диргемами; такими же диргемами платили им, вероятно, и русские князья,

у которых они состояли на службе; иногда вместо серебра они брали жалованье собольими и бобровыми мехами; сами же в крайне редких случаях платили англосаксонскими монетами. Общее заключение: там где присутствие норманнов как поселенцев исторически доказано (т.е. в остзейских губерниях), англосаксонские монеты составляют неперемнную принадлежность всех кладов, как в Швеции, Дании, Германии; в России, где они были только гостями, англосаксонских монет почти не находят.

Норманны не основной, а случайный элемент в нашей истории. Что, между тем, ни один из народов, обитавших в соседстве древней Руси, не принимал в ее жизни, в ее политическом и внутреннем развитии того постоянного, деятельного участия, каким уже с первых годов IX века ознаменованы отношения скандинавского к русскому миру, – факт несомненный, естественный, истекающий как из географического положения обоих племен, так и из однородности их европейского организма. Отсюда и проявление в древнейшей истории Руси тех, всем известных случайностей, которые, при особом на них научном воззрении, могли дать повод к обращению примет знакомства в приметы родства и тем самым положили основание теории скандинавского происхождения Руси. С меньшим, но все же в некоторой степени присущим правом на историческую вероятность выводили другие исследователи аналогичные заключения из отношений к Руси других ей соприкосновенных народностей; что для представителей норманнского мнения известия Вертинских летописей, Константина Багрянородного и Лиутпранда, то для Эверса показания Бакуви, Мирхонда, Димешки о тюркском происхождении руси; для г. Костомарова русская земля Петра Дюсбурга и т. д. Но уже одна возможность подобного разногласия исследователей, как явно основанная на отсутствии внутренних, фактических свидетельств о влиянии на Русь какого бы то ни было внешнего этнического начала, доказывает, что ни одна иноплеменная народность не вошла в состав словено-русского общества.

II. Кто призывал варяжских князей?

При исследовании о началах Русского государства представляются три вопроса:

- 1) Кто призывал варяжских князей?
- 2) Вследствие каких побуждений?
- 3) Кто были призванные варяги?

До сих пор внимание исследователей было преимущественно обращено на последний вопрос; о двух первых мы имеем только поверхностные суждения; между тем, их точнейшее изучение необходимо для рационального, по возможности, определения спорной варяжской народности.

Летопись говорит: «Въ лето 6367. Имаху дань варязи изъ заморья на чюди и на словънехъ, на мери и на всехъ кривичъхъ; а козари имаху на полянхъ, и на северехъ, и на вятичъхъ, имаху по беле и въверице отъ дыма.

Въ лето 6368. Въ лето 6369. Въ лето 6370. Изгнаша варязи за море, и не даша имъ дани, и почаша сами въ собѣ володѣти; и не бѣ въ нихъ правды, и вѣста родъ на родъ, быша въ нихъ усобице, и воевати почаша сами на ся. Реша сами въ себе: поищемъ собе князя, иже бы володелъ нами и судилъ по праву. Идоша за море къ варягомъ къ руси... Реша руси чюдъ, словени и кривичи» и т. д.

На этих словах, принятых в буквальном смысле, основывают Шлецер, Карамзин и г. Соловьев мнение, что финские племена были равными со славянскими участниками в деле призвания; другие исследователи, Круг, Порошин и пр., полагают, что чюдъ была главной действующей народностью в финно-славянском союзе. Круг приводит то обстоятельство, что у Нестора имя чюди всегда стоит впереди словен. Порошин прямо говорит: 1) финны были преобладающей народностью в союзе чюди, мери, веси, словен и кривичей; 2) князья (избранные) принадлежали к тем иноземцам (варягам), которых финны именовали русью; 3) славянское племя – словене играли второстепенную роль в призвании иноземцев, что явствует из самого имени русь, которым они прозвали пришельцев и которое было только заимствовано от финнов; 4) подданные прозвались русью в политическом смысле, как ныне лифляндцы и другие именуются русскими за границей. Одним словом, здесь утвердилось в то время новое, до той поры не существовавшее государство, коего восприемниками были финны.

На то же мнимое преобладание финского начала над славянским указывает и г. Куник: «Если мы примем во внимание, что именно финские обитатели просторных прибрежий Финского залива гораздо более, чем отдаленные от побережья славяне в верховьях Волхова или на средних частях Двины, подвергались нападениям шведских и датских морских разбойников и нуждались в защите, то эти финны, которые уже в течение нескольких столетий были гораздо ближе знакомы со шведами, нежели с датчанами, поморянами и лютичами, призывая чужеземных владык, конечно, вправе были заявить и свое, может быть, и порешившее этот вопрос мнение, хотя впоследствии, когда Рюрик променял Ладогу на столицу среди славянских племен, они и отступили на второй план».

Понятно, почему норманнская школа так дорожит своей финской гипотезой; отнимая у призвания варяжских князей его чисто славянский характер, представляя этот основной факт русской истории общим делом разнородных финнославянских племен или даже финским делом по преимуществу, она тем хотя несколько умаляет невероятность избрания славянами князей не из родного славянского племени, а из враждебной норманнской народности. Только согласно ли это мнение с ходом русской истории и известиями летописца?

Для утверждения своей теории норманистам приходится прежде всего заменить положительное сказание летописи об избрании князей миротворцами между враждовавшими

племенами догадкой о призвании этих князей в качестве сберегателей границ. О неудачности этого весь смысл русской истории извращающего предположения, будет сказано подробнее в следующей главе. Покуда спрашиваем: от кого следовало призванным шведам оберегать финно-славянские племена? Оказывается, что эти шведы были призваны по настоящему требованию преобладавшей в союзе северных племен финской народности преимущественно для защиты ее приморских владений от набегов (других?) шведских и датских разбойников. Между тем, старший из трех братьев Рюрик садится в словенском Новгороде; Трувор у кривичей. Казалось бы, Синеусу, представителю финских интересов, следовало поселиться у чюди, на побережии Балтийского (Варяжского) моря. Он селится у веси на Белоозере, за семьсот с лишком верст от чюдского берега. Или принять с Миллером, что шведы были призваны словеночюдскими племенами для защиты мери от пермяков?

Ни сказания летописи, ни сама история не допускают мысли не только о преобладании финского элемента над славянским, но даже об историческом равенстве в IX веке обеих народностей. Рюрик, старший князь, утверждает свой стол в Новгороде; имя Руси, в убеждениях Нестора, переходит только на славянские, отнюдь не на финские народности. По мере их сосредоточения под властью варяжских князей словено-русские племена (северяне, древляне и пр.) обращаются из данников в участников нового государства; а финские, не покоренные, но призывавшие народности, являются данниками («А се суть иши языци, иже дань дают Руси: чюдь, меря, весь, мурома» и пр.), и это без малейшего намека на исторический переворот, который объяснил бы подобное изменение в судьбе их. Нигде чюдь не является самостоятельной народностью; летопись не знает на Руси ни одного финского деятеля, за исключением, быть может, ведущего свое происхождение от финнов Изяславова мужа Чюдина, о котором упоминается в Правде детей Ярослава и в летописи под 1072 и 1078 годами.

В каком же смысле должно принять известие летописца об участии чюди в призвании варяжских князей? в каких отношениях к Новгороду состояли поименованные у него финские племена?

Шлецер принимает союз чюди, мери, словен и кривичей, основанный на федеральной системе. О союзе финнославянском толкуют и Карамзин, и Савельев и пр. Между тем (не говоря уже о других исторических невозможностях), в самом факте призвания князей проглядывает такое единство мысли, интересов и побуждений, которое едва ли может быть отнесено, в равной степени, к двум разноплеменным народностям.

Г. Соловьев замечает справедливо, что летописец не мог употребить выражение «усобицы» о войнах между тремя различными племенами. Что Нестор думал только об одной преобладающей народности, ясно выражено словами «и воевати почаша *сами на ся*». Наша история не знает ничего о воображаемой тесной связи между славянскими и чюдскими племенами; но, предположив эту невозможную связь, она разрывалась войной; славяне и чюдь могли воевать друг на друга, но не *сами на ся*. Допустить ли, что речь идет о внутренних, родовых усобицах каждого из отдельных племен? Тогда должно допустить, в одно данное время, у двух совершенно отличных народностей одинаковое проявление внутренних несогласий, одинаковую потребность наряда, одинаковое ее выражение посредством призвания из третьей враждебной народности *одного* общего князя! Ибо если случай и навел на избрание трех братьев, то все же избиравшие хотели сначала только *одного* князя: «Поищемъ собе князя, иже бы володелъ нами и судилъ по праву». Этими словами утверждается мысль или, лучше сказать, положительный исторический факт, что в главе избирателей стояла одна, господствующая народность, та самая, у которой должен был поселиться призванный князь, у которой садится *старший* из трех избранных братьев – Рюрик. В этом *старшинстве* Рюрика и кроется основная мысль, историческое значение призвания. Словене-новгородцы *старшее* из славянских племен на севере; кривичи-полочане *младшее*; чюдь, весь, меря, мурома –

словенские данники; Белоозеро, Ростов, Муром – *словено-русские колонии, словено-русские города в финских землях*. Эти предположения отчасти уже высказаны, и, должно сказать, с замечательной ясностью взгляда г. Костомаровым; на них наводит весь ход, все политическое развитие русской истории. Без принятия особого влияния словен на чюдские племена, без допущения словенской колонизации финских земель славянские названия Белоозера, Клещина озера, Ростова необъяснимы. Эти местности нигде не являются финскими центрами; их славянский характер проглядывает в каждом слове, в каждом известии Нестора. Если принять в смысле норманно-финской системы положительное этнографическое указание летописи: «И по темь городомъ суть находници варязи; а перьвии насельници въ Новегородте словене, полотьски кривичи, въ Ростове меря, въ Бельозере весь, въ Муроме мурома», значит, Нестор думал, что в его время население Белоозера, Ростова, Мурома состояло из норманнов (варягов) и финнов? Каким же образом из смеси норманнов и финнов выходят славяне? Откуда, если не допустить словенских поселений в финских землях, положительные следы славянских языческих верований, упорная привязанность к славянскому идолопоклонству в Ростове и Муроме? По свидетельству Густинской летописи, Владимир разрушил в 990 году идол *Волоса* в Ростове; о вторичном ниспровержении *Велесо*ва идола в Ростове св. Авраамием в XII столетии упомянуто в Прологе. По рукописному житию св. князя Константина, он нашел в Муроме все древние обыкновения славянской веры. Праздник в честь Велеса под названием *Велекс* совершается и доньше у мордвы, потомков ростовской мери. Не могли же финские земли ославяниться в продолжении одного столетия под влиянием норманнской династии.

Ранняя словенская колонизация Поволжья была естественным следствием новгородской торговли с востоком, опередившей двумя, быть может, столетиями основание государства варягами. И в позднейшие времена идет между Новгородом и князьями Ростовской области постоянный спор о восточных городах, находящихся на Волжской системе; в числе новгородских владений мы встречаем Торжок, Волок Ламский, Бежецк; в географическом отрывке Полетиковского списка у Шлецера Волок Ламский и Бежецкий Верх причислены к Залесским городам. Как притязания суздальских князей основаны на объеме Ростовской области, так притязания новгородцев – на словенском происхождении русских колоний в финских землях. О подобных словенских поселениях сохранились подробные и достоверные известия в Хлыновском летописце; новгородцы именовали хлыновских выселенцев своими беглецами-рабами. Я полагаю, что мордовская Пургасова Русь есть не что иное, как выселение словен-язычников из Ростова и Мурома в мордовскую землю.

Противоречат ли эти факты и выводы известию летописца о варяжской дани на чюди и на словенах, на мери и на кривичах? О призвании князей словенскими и чюдскими племенами? Нисколько. Имея дань на словенах, варяги имели ее и на словенских поселенцах в землях чюди и мери. По основавшимся посреди их словенским колониям племена чюди, веси, муромы состояли к Новгороду в отношениях младших племен к старшему, пригорода к старшему городу; без них и без кривичей новгородцы не могли приступить к избранию новой династии; так делали они и после в подобных случаях: «Новгородьци призваша плъсковиче и ладожаны, и сдумаша яко изгонити князя своего Всеволода». Только из совокупности этих явлений объясняется, каким образом, с одной стороны, финские племена (здесь словенские колонии в финских землях) принимают участие в призвании, а с другой, являются данниками Руси.

Призвание варяжских князей исключительно славянский факт; но если этот факт в первый момент своего проявления принадлежит одному только новгородскому северу, то по основным своим побуждениям, по общности своего значения в русской истории они общее достояние всех словено-русских племен. Олег водворяется в Киеве не случайно, а вследствие летописцем засвидетельствованного права. Уразумение этого исторического явления

зависит немало от точного определения объема и значения словено-русской народности в девятом веке.

«Под именем русских славян, – говорит Шафарик, – понимаем мы все те славянские племена, кои по основании русской монархии во второй половине IX века вскоре одно за другим вошли в состав нового государства и заменили свои прежние туземные наименования чужим именем своих покорителей, сохраняя оное и до сего дня. Конечно, известно, что славянские племена, населявшие безмерное пространство позднейшей России, отличались друг от друга как *происхождением*, так и *наречиями*; между тем, при скудости дошедших до нас известий, это отличие не может быть определено без больших затруднений; оно же и мало входит в предмет наших изысканий».

Понятно, что знаменитому исследователю, столь блистательно воссоздававшему древний общеславянский мир, нельзя было отвлекаться от конечной цели труда своего специальным изучением частных вопросов, касающихся до каждого отдельного славянского племени. У нас другая обязанность; на определении словено-русской народности в эпоху призвания варяжских князей основана вся первобытная история Руси. Нестор писал летопись *русского* племени, повести временных лет откуда есть пошла *Руская земля*; неужели в них не сохранилось и намек на отличие от забредших в Русь разнородных и разноязычных славянских племен той совокупной славянской народности, которой было суждено преобладать над другими и слить в одно *русское* целое все посторонние народности и наречия?

В эпоху призвания, т.е. около половины IX столетия, славянская раса уже с давних пор занимает назначенное ей историей пространство Европейского материка. Она делится на несколько народностей, отличных одна от другой особыми наречиями, отраслями одного общего корня; у каждой из них (за исключением так называемого полабского племени, смеси от ляхов, чехов и сербов) свое народное имя. В восточной части Европы от Ильмена до низовья Днепра сидит однокровная прочим народность славянского происхождения, говорящая особым *словенским* наречием. Это наречие – *русское*; эта народность – *русь*.

Шесть племен входят в состав ее, а именно: поляне, древляне, дреговичи, словене, полочане и северяне. *Эти данные высказаны у Нестора.*

. «Тако же и ти словене пришедше и седоша по Днепру, и нарекошася поляне, а друзи древляне, зане седоша въ льсехъ; а друзи седоша межю Припетью и Двиною, и нарекошася дреговичи; инии седоша на Двине и нарекошася полочане, речки ради, яже втечетъ въ Двину, имянемъ Полота, отъ сея прозвашася полочане. Словени же (в некоторых списках прибавлено: пришедше з Дуная) седоша около езеря Илмеря, прозвашася своимъ имянемъ, и сделаша градъ, и нарекоша и Новгородъ; а друзи седоша по Десне, и по Семи, по Суле и нарекошася северъ».

1. «И по сихъ братьи держати почаша родъ ихъ княженье въ поляхъ; въ деревляхъ свое, а дреговичи свое, а словени свое въ Новгороде, а другое на Полоте иже полочане. Отъ нихъ же кривичи, иже седять наверхъ Волги, и наверхъ Двины и наверхъ Днепра, ихъ же градъ есть Смоленскъ; туда бо седять кривичи, таже северъ отъ нихъ».

2. «Се бо токмо словенскъ языкъ въ руси: поляне, древляне, ноугородьци, полочане, дреговичи, северъ, бужане, зане седоша по Бугу, послъже вельняне».

Почему кривичи стоят только во втором из трех приведенных мест, будет объяснено ниже; бужане были не особое племя (как о таковом о них в летописи более не упоминается), а племенное подразделение полян, как некогда, уже в Несторово время исчезнувшие дулебы: «Дулеби живяху по Бугу, где нынъ вельняне». Затем, из сличения выписанных мест, оказывается, что летописец имел в виду особую *шестиплеменную* славянскую народность, отличную от прочих по наречию и происхождению. Известно, что кроме сказанных шести племен в состав подвластных варяжской династии славянских народов входили и другие, от центров своих отторгнувшиеся славянские племена; таковы были радимичи, вятичи, хорваты, уличи,

тиверцы и т. д. Но эти славянские племена не стоят наряду с шестью русскими племенами, потому что они случайный, а не основной элемент русской народности. Летописец не упоминает о них при рассказе о переселении с Дуная на Днепр и на Ильмень восточных славянских племен, потому что здесь дело идет о расселении по своим местам особых, совокупных славянских народностей; потому что он должен указать свое место руси, как указал свои места мораве, чехам, хорватам, сербам, хорутанам, ляхам. Он не упоминает о них при исчислении и территориальном распределении доваряжских княжений в Руси, потому что князья радимичей, вятичей, тиверцов, уличей не принадлежат к русским княжеским родам, а их территории не входят в состав общих, совокупных владений русского племени. Наконец, он не полагает этих племен в числе говорящих на Руси особым словенским наречием, потому что выражение «словенск язык» (будь оно принято в смысле народа или народного говора) имеет частное, племенное значение; потому что на Руси только шесть племен отличались особым словенским наречием и происхождением; остальные имели хорватскую, ляхскую, сербскую речь. В другом месте летописец выражает свою мысль еще яснее: «Поляномъ же живущемъ особъ якоже рекохомъ, *суща отъ рода словеньска*, и нарекошася поляне, а древляны же *отъ словень же*, и нарекошася древляне; *радимичи бо и вятичи отъ ляховъ*». Здесь, с одной стороны, поляне и древляне отличаются от двух ляхских племен *словенским* наречием и происхождением *от словен*; с другой, несмотря на свои местные, племенные названия, оказываются такими же *словенами*, как и прозванвшиеся своим именем новгородцы. В том же смысле и с той же целью указать на единоплеменность Киева с Новгородом говорится впоследствии: «Аще и поляне звахуся, но *словеньская* речь бе».

Что эти шесть племен, составлявшие особую совокупную славянскую народность, искони назывались русью (как племена, составлявшие чешскую, ляхскую, сербскую народность, назывались чехами, ляхами, сербами), я постараюсь доказать в своем месте; покуда, если не ошибаюсь, нами приобретены исторические данные немаловажного значения, а именно *этнографическое* определение той особой славянской народности, коей два центра, Новгород и Киев, будут точками отправления варяго-русского государства и русской истории.

Теперь, что разумел Нестор под выражениями *словене*, *словенский язык*?

В гл. XIII я по возможности выясняю этническую терминологию Нестора и эпохи его. Как *народное*, имя руси принадлежит всем племенам (первоначально только шести основным) союза восточных славян; как *племенное*, одному только югу. Имя словен имеет исключительно племенное значение; всегда и во всех случаях под ним понимаются только славянские обитатели Новгородской области. Остальные русские племена словенами не именуется; но отличаются от прочих славянских народов происхождением *от словен* и *словенским* наречием. На чем основано это отличие?

Кроме словенского племени на Руси были вне руси и другие *словенские* племена; имя словен имеет племенное значение у Прокопия; у Иорнанда; у Кадлубка; в его настоящем, общем смысле оно славянским народам неизвестно; славянскими летописателями употребляется только в случаях крайней, литературной необходимости. Только четыре племени в Словенине носили генетическое имя *словен*; словене мизийские (болгарские), на чье наречие переведены книги Св. Писания; *словенцы* в Иллирии и Паннонии; *словаки* в верхней Венгрии; наконец, *словене* ильменские. В исследовании о происхождении славян Шафарик принимает однородность этих словенских племен как по имени, так по языку и происхождению; в своих «Древностях» он берет назад прежде сказанное о родстве между словенцами хорутанскими и словенами мизийскими; между тем, сих последних считает прямо колонией наших ильменских словен. По всей вероятности, все эти племена составляли некогда одно общее, отдельное целое по языку и происхождению; свидетельство русской летописи подтверждает, как увидим, историколлингвистические выводы Шафарика и рассеет, надеюсь, им

самим возбужденные сомнения. Он говорит: «Что касается до болгар, свидетельства Моисея Хоренского и византийских писателей доказывают непреложным образом, что задолго до нашествия болгар, этих татарских скифов, славянские племена населяли Мизию, Фракию, Эпир и Иллирию. Имя словен в византийской истории осталось родовым достоянием этих метанастов; оно, в сущности, не прилагается вселившимся в позднейшее время сербам и хорватам. Когда задолго до крещения своих татарских завоевателей эти метанасты отстали от язычества; когда около 855 года Константин и Мефодий, желая утвердить в них христианскую веру и приобщить простонародье ее божественного духа, возвысили простую народную речь до письменного слова; в то время этот язык получил название не болгарского, не сербского, а словенского, в чем каждый может удостовериться из древних рукописей. И здесь, конечно, имя завоевателей, как некогда у роксолан и яцыгов (ютунги, ютунгаланы), а позднее у руси, вскоре стало вытеснять имя побежденного народа (уже Симеон 9—927 гг. титуловался, по Абульфараджу, князем болгар и словен; а в продолжении всей средневековой эпохи Мизия было поочередно называема Болгарией и Склавинией); но заглушить его стоило ему немало труда, истребить же его совершенно оно не могло и доньше. Взглянув на древнюю историю словен в Болгарии, Паннонии и верхней Венгрии, мы находим, что в VIII—IX веках эти племена, ныне столь отличные друг от друга по языку и обычаям, состояли еще в тесной географической, а отчасти и политической взаимной связи. Не по одному сомнительному сказанию безымянного нотариуса короля Белы, а по испытанным свидетельствам византийских и франкских источников, болгарская держава простиралась к северу на всех славян по правому берегу Дуная до Дравы, а по левому до береговых равнин реки Тисы. В северозападной Венгрии моравские князья владели тамошними словенскими племенами; в верхней Паннонии господствовали собственно словенские князья, будучи отчасти вассалами франков. Вследствие соседства болгар и франков на Драве и на Дунае возникали нередко столкновения между завоевателями, и положение границ изменялось; но не этими столкновениями, а вторжением мадьяров в Паннонию и их поселением на берегах Дуная и Тисы окончательно произведен разрыв в географической связи словенских племен. Этими историческими фактами ярко освещается история жизни и действий Мефодия. Только при непрерывности в поселениях мизийских, паннонских и карпатских словен, и при первоначальном тождестве их наречий понятны, как одновременная деятельность Мефодия во всех трех словенских владениях, так и скорое распространение в словено-македонском переводе греческой литургии в Паннонии и Словакии. Это основное тождество наречий (вторичное доказательство одноплеменности трех, ныне разрозненных народов) еще ощутительно и в наше время, после тысячелетнего разделения. Известно, что болгары, словаки и словенцы объявляют одинаковые притязания на так называемый церковный словенский язык. «Наречие древнейших славянских метанастов в Паннонии, — говорит Копитар, — на южном и восточном отвесе норийских и иульских Альп, вдоль реки Савы, Дравы, Муры, Раба и т. д., и теперь еще подходит к церковному словенскому ближе иллирийского (сербского и далматского); истина, в которой беспристрастный иллириец и сам убедится, если верно переведет какое-нибудь известное место сначала на так называемое кроатское или краинское наречие, а потом на свое собственное, и сравнит оба перевода, писанные кирилловской азбукой и правописанием, с древнеславянским». «Нынешние сербы в Славонии и Крoации, — говорит Цаплович, — говорят языком, который разнится от церковнословенского, как итальянский от латинского. Гораздо ближе к нему наречие словацкое. Словак понимает сербское Евангелие лучше самого серба, не изучившего церковно-словенского языка» (я прибавлю: хотя уже около тысячелетия словак не имеет, подобно сербу, случая ежедневно слышать этот язык; хотя словенский язык настоящих церковных книг проникнут руссизмами; хотя, наконец, нынешний его выговор относится к древнему, как нынешний греческий и латинский выговор к древнему).

А что народный язык древних словен в Македонии и во Фракии (по сознанию самого Добровского, величайшего из славянских лингвистов-историков) впервые положен на письмо двумя братьями-апостолами, это можно принять за достоверный факт на основании как самой истории, так и множества дошедших до нас болгарских рукописей. Начавшаяся в Болгарии (т. е. в верхней и средней Македонии, верхней Фракии и Мизии), словенская церковная литература продолжалась в Паннонии. Конечно, в IX веке, быть может, уже существовало незначительное различие наречий между словенским в Болгарии, словенским в Паннонии и словацким в Венгрии; это следует из отдаленного положения племен и их смешения с дальними родственными и чужими народностями, болгар – с остатками трибаллов, иллирийцев и фракийян; словенцев – с древними паннонцами и франками; словаков – с чехами, ляхами, аварами и т.д., и подтверждается письменными свидетельствами; между тем, первобытное тождество трех наречий проявляется несомненным образом и в позднейшие времена (напр., в словацком переводе кириллицею Евангелия Богианского монастыря), и теперь еще может быть грамматически и лексикографически доказано в отдельных частностях, несмотря на беспримерное, почти метадialeктизирование словацкого и болгарского языков».

Это существование словенских племен вне руси было известно и Нестору; он прилагает имя словен, в племенном смысле, только тем народностям, в состав коих вошли эти три словенские племена. Он пишет: «Ту бо есть Илюрикъ, его же доходилъ апостолъ Павелъ, ту бо бяша *словени* первее»; и в исчислении потомков Яфетовых: «Илюрик, словене». Как Илюрик, т. е. иллирийских словенцев, так и мораву-словаков он зовет словенами, Моравскую землю словенскою. О болгарях он не употребляет имени *словен*, ибо в его время оно уже не существовало у них в племенном значении, как при Кирилле и Мефодии; но сохраняет для болгарского письма название *словенской* грамоты. Ляхи, чехи, сербы, хорваты несмотря на общеславянское происхождение, для него не словене. Только не должно думать, чтобы он имел ясное, определенное понятие о нерусских словенских племенах и их географическом положении. Под именем Илюрика он понимает все дунайские земли; под именем дунайских словен всю юго-западную Словенщину.

Его мысль может быть угадана только из сравнения его сведений о трех нерусских словенских племенах с понятиями, какие он имел о своей словено-русской народности. При недостаточном определении Несторовой этнографии, при смешении в одно хаотическое целое всех славянских народов, обитавших в России, Шафарик не мог включить словенскую русь в систему своих историко-лингвистических исследований. Но теперь перед нами не безымянная смесь всех племен и наречий, а отдельный народ, отличный по наречию и происхождению от окружающих его нерусских славянских племен, тождественный по наречию и происхождению, а отчасти и по имени, с остальными *словенскими* племенами. Это тождество, ясно высказанное в летописи, служит верным подтверждением мысли Шафарика о родстве и первобытном одноязычии всех так называемых *словенских* народов. Понятия Нестора о словенстве русских племен основаны: 1) на смутном историческом предании о их доисторическом родстве с остальными *словенскими* племенами, о первом поселении всех *словенских* племен на Дунае, о прямом выселении с Дуная *ильменских словен*; 2) на тождестве наречий словено-русского с остальными словенскими; 3) на желании удержать за своим народом освященное переводом книг Св. Писания *словенское* имя. Описав деятельность Мефодия в *словенской* земле (Мораве), Нестор прибавляет: «Темже словеньску языку учитель есть Аньдроникъ апостолъ: въ моравы бо ходилъ, и апостолъ Павелъ училъ ту; ту бо есть Илюрикъ, его же доходилъ апостолъ Павелъ, ту бо бяше словени первее. Темже словеньску языку учитель есть Павелъ, отъ него же языка и мы есμε русь: темже и намъ руси учитель есть Павелъ апостолъ, понеже училъ есть языкъ словенескъ, и поставилъ есть епископа и намъстника по себе Андроника словеньску языку. А словенескъ языкъ и русский

одинъ, отъ варягъ бо прозвашася русью, а первѣе беша словене; аще и поляне звахуся, но словенская рѣчь бе, полями же прозвашася занеже въ поле седяху, языкъ словѣньскъ бе имъ единъ». Шлецер, не понимавший ни исторического, ни грамматического смысла этого места, называет его несносно глупой вставкой; он не подозревал, сколь важно было для летописца определить, с одной стороны, одноплеменность всех *словенских* народностей, с другой, однокровность Киева с Новгородом (*словенами*) по языку и происхождению. Круг впадает в другую ошибку, принимая здесь слово *язык* в смысле *народа*; выражения «Словенская рѣчь бе – языкъ словенский бе имъ единъ», очевидно, доказывают, что дело идет о наречии в племенном, не о народе в общем смысле. Значение слов летописца не допускает двух толкований, если вспомнить сказанное им в начале, а здесь повторенное, о словенстве полян и древлян, о несловенстве радимичей и вятичей.

Для Нестора было одно отдельное *словенское* целое, распадавшееся на два центра: 1) *словене* ильменские, к которым примыкают и остальные русские племена; 2) *словене* дунайские.

Что было верного в этих представлениях летописца; в чем заключались его заблуждения?

В сущности, Несторова мысль справедлива. Между словенскими племенами существовала родственная связь; словенское имя было достоянием только четырех генетических словенских племен; подобно словенам мизийским, словенцам и словакам Русь сохранила словенское имя для старшего из своих племен в Новгороде; для других – предание о происхождении от словен. О тождестве словенского языка в болгарях, моравских словаках и хорутанских словенцах мы видели мнения Шафарика и Копитара; что еще в Несторово время то же самое, или, по крайней мере, мало изменившееся словенское наречие господствовало и на Руси, несомненно; только отсюда объясняется немедленное восприятие на Руси книг Св. Писания, составленный болгарями перевод договоров и пр. Таково было, основанное на положительных фактах, на собственном опыте, наконец, на убеждении современников и мнение самого Нестора: «А словенскъ языкъ и рускый одинъ» – «Языкъ словѣньскъ бе имъ единъ» – «Симъ бо первое преложены книги марава, яже прозвася грамота словенская, яже грамота естъ въ Руси и въ болгарехъ дунайскихъ».

Между тем, утвержденные на исторической действительности и верных лингвистических выводах понятия летописца о связи и этнографическом значении словенских племен затемнены для нас и для самого Нестора, с одной стороны, принятой им ложной системой происхождения русского имени от варягов; с другой, заблуждениями, к которым вело его желание согласовать словоупотребление словенского имени в церковном смысле с неверным убеждением в переводе книг Св. Писания для моравы. О первом из этих положений будет сказано подробно в своем месте; второе основательно и, кажется, навсегда опровергнуто Шафариком по следам Добровского. Словенская грамота – было техническим названием изобретенного Кириллом для болгарских *словен* алфавита; Кирилл везде именуется *словенским* учителем; кирилловская литургия *словенской*. Но вследствие известного посольства к греческому императору *моравских* князей Ростислава, Святополка и Коцела и долголетней деятельности Мефодия в *Моравской* земле вскоре распространилось (и Нестором разделенное) мнение о переводе книг для моравы. Отсюда недоумения летописца; двоякое значение у него моравского имени; неверный объем его моравы. Как особое племя моравских славян Несторова моравы принадлежат к западным, *несловенским*, от словен выродившимся племенам; как земля (вместилище словаков и иллирийских словенцев и, вместе с тем, классическая почва словенской грамоты) моравы имеет для него значение дунайской Словенщины. Вот почему при повествовании о переводе церковных книг он постоянно отличает мораву племенным названием «словене», а Ростислава, Святополка и Коцела зовет князьями *словенскими*, не моравскими. «Словеномъ жиущимъ крещенымъ и княземъ их, Ростиславъ, и

Святополкъ, и Коцель послаша ко царю Михаилу... и послаша я въ *Словеньскую* землю къ Ростиславу, и Святополку, и Къцьлови.

Сима же пришедъшема, начаста съставлявати писмена азьбуковъная *словеньски*... ради быша *словени*, яко слышаша величья Божья своимъ языкомъ». Здесь выражение «словене» о мораве и моравских князьях, очевидно, основано на церковном значении словенского имени; на мысли о переводе для них церковных книг на словенский язык. В сербских памятниках всегда говорится о моравлянах: «Растиславль бо моравьскый кнезь, богомъ оустимъ советъ сотвори съ кнези свои моравляны». Черноризец Храбр именует Ростислава (Растица) князем моравским, Коцела – блатенским. Итак, на понятиях Нестора о значении словенского языка в смысле наречия церковных книг утверждались, пополняя друг друга, его понятия о племенном, особом значении словенского имени; между славянскими племенами одни только *словенские* говорили церковным наречием. Апостол Павел и Андроник были учителями только словенскому языку, не ляхам, чехам, хорватам. Из того же источника, как сказано выше, и фантастически неопределенное представление Нестора о Моравской земле; если бы он знал, что Кирилл и Мефодий переводили на *словено-болгарский* язык, название Моравы исчезло бы у него для Иллирика и дунайских словен. Наконец, Нестору было известно общее значение славянского имени у иноземных народов, преимущественно у греков. Сами славяне не знают для себя всенародного туземного прозвища; по крайней мере оно до нас не дошло; общим достоянием всей расы у иноземных писателей славянское имя стало, по мнению Шафарика, вследствие войн славянских племен с франками и греками. Употребление его в этом иноземном общем смысле проявляется только в редких случаях и чисто литературным образом у славянских писателей. Как в летопись Мартина Галла и Кадлубка от немцев, так в Несторову славянское имя в общем значении могло при случае перейти от византийцев; между тем, влияние греческого словоупотребления отразилось не столько в этнографической терминологии летописца, сколько в его понятиях о первенстве и первородстве генетических *словенских* племен в общеславянском мире. Только об одном месте летописи можно сказать с некоторой уверенностью, что в нем славянское имя является в общем смысле; это следующее: «Бе единъ языкъ словенескъ: словени, иже седяху по Дунаеви, ихъ же прияха угри, и марава, чеси и ляхове, и поляне, яже ныне зовомая русь». Но принимать исключение за правило невозможно, и напрасно утверждает Шафарик, что по примеру латинских и греческих писателей средних веков Нестор именует словенами все славянские племена в Европе. Мы разобрали тексты летописи, на которых основано это мнение; везде имя *Словен* явилось в значении особом, племенном, как у скандинавов норманнское имя; только при недостатке определенных географических сведений и невозможности согласовать значение словенского имени с ложным понятием о переводе книг Св. Писания для моравы сами племена обозначены темно и неверно, а границы земель произвольно отодвинуты и перемешаны.

Таковы, если не ошибаюсь, были понятия и данные об этнографии славянских народов и о значении словенского имени, по которым надлежало Нестору расположить свою историю славянского племени, сообразив ее с преданием, основанным на исторической действительности о первом поселении славянских племен на Дунае.

Отсюда два основных положения славянской истории в его летописи:

1. *Словенское* племя – зародыш и начало всех славянских племен; во главе его стоит словенская русь, словене ильменские. Он пишет: «Отъ сихъ 70 и 2 языку бысть языкъ словенескъ отъ племени Афетова, норци, еже суть словене».

О нориках здесь думать нельзя. Во-первых, в Несторово время, нориками (*norici*) у западных летописцев именовались баварцы. Во-вторых, нельзя допустить, чтобы имя нориков (если бы под этим именем Нестор понимал первородных славян) встречалось только один раз в его летописи и не было бы им употреблено о дунайских славянах. Наконец, откуда

могло оно зайти в его летопись? Нигде византийские историки не именуют славян нориками; а по славянским преданиям он мог знать только туземное славянское имя. Шафарик вместо норци, норцы читает *илюрци*; но против его предположения говорит справедливое замечание Шлецера, что в списках, читающих *инорци*, начальное *и* приставлено от предыдущего *нарицаемии*. «Замечание, – возражает Шафарик, – что в шести списках, читающих *инорци*, начальное *и* только пристало от предшествующего *нарицаемии*, неуместно; ибо в множественном числе отвлеченной формы склонения причастие имеет только одно *и*». Конечно, не в русском наречии: одинаковая форма причастия с окончанием на *ги* встречается во многих местах летописи. «...Придоша отъ скуфь, рекше отъ козарь, *рекоми* болгаре». В Никоновском списке и Степенной книге читаем: «Роди же *нарицаемии* Руси». *Норци, норцы* — по всей вероятности, не что иное, как искаженное или небрежно сокращенное *новгородцы*. На это чтение указывает как смысл Несторовой этнографии славянских племен, так и сохранившаяся в варианте *иноверци* буква *в*. Значение Несторовых слов было бы следующее: «Въ числе сихъ же 72 народовъ, былъ народъ словенскш, отъ племени Яфетова, такъ называемые (ныне) Новгородцы» или «такъ назвавшиися (впоследствии) новгородцы, кои суть и словене». Тому, кто знаком с одинаковым у всех народов стремлением древних летописцев к прославлению своего племени перед другими, не покажется странным это притязание нашего летописца на старшинство своих ильменских славян.

2. Первородное славянское племя, говорящее первородным словенским (церковным) наречием, имеет в Европе только два центра: словенскую Русь и дунайских словен. Все прочие славянские племена выродки от словен.

По переселении на Дунай словенское племя распадается на две части. Одна, отказавшись от словенского имени и от словенского языка, превращается в мораву, чехов, хорватов, сербов, хорутан, ляхов. «По мнозехъ же времяньхъ сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. Отъ техъ словенъ разидошася по землѣ и *прозвашася имени своими*, где седше на которомъ месте яко пришедше седоша на реце имянемъ Морава и прозвашася моравы, а друзи чеси нарекошася; а се ти же словени хровате белии, и серебъ, и хорутане. Волхомъ бо нашедшемъ на словени на дунайския, седшемъ въ нихъ и насмящемъ имъ, словени же ови пришедше седоша на Висле и прозвашася ляхове, а отъ техъ ляховъ прозвашася поляне, ляхове друзии лутичи, ини мазовшане, ини поморяне».

Другая половина первородного словенского племени, сохранившая словенское имя и словенский язык, подразделяется, как сказано, на два центра:

а) *Словене ильмено-днепровские*. «Тако же и ти словене пришедше и седоша по Днепру, и нарекошася поляне, а друзии древляне, зане седоша въ лесехъ; а друзии седоша межю Припетью и Двиною, и нарекошася дреговичи; иши седоша на Двине и нарекошася полочане, речки ради, яже втечетъ въ Двину, имянемъ Полота, отъ сея прозвашася полочане. Словени же (пришедше з Дуная) седоша около езера Илмеря, прозвашася своимъ имянемъ, и сделаша градъ, и нарекоша и Новъгородъ; а друзии седоша по Десне, и по Семи, по Суле, и нарекошася северъ». Этим русским словенам Нестор не дает отдельного народного имени как вследствие принятой им системы происхождения руси от варягов, так и потому, что похваляется словенским именем и происхождением своей народности. В отношении к прочим славянским народностям русские племена словене, как в отношении к норвежцам и датчанам все шведские племена шведы; на Руси словенскими именуются только одни новгородцы, как в Швеции шведами одни только населенцы собственного Swealand, Swithiod.

б) *Словене дунайские*. «Словеньску же языку, якоже рекохомъ, живуцю на Дунай, придоша отъ скуфь, рекше отъ козарь, *рекоми* болгаре, седоша по Дунаеви, населници словеномъ быша. Посемъ придоша угри белии, наследиша землю словеньску». Эти дунайские словене, эта словенская земля на Дунае, остаток от первородного словенского племени после выселения в Русь другой его половины. Нестор, видимо, дорожит одноименностью и

родством своих ильменских словен с дунайскими, учениками апостола Павла. Вот почему он пишет: «Словени же *пришедше з Дуная* седоша около озера Илмера». В Никоновском списке сказано, что перед избранием варяжских князей словене долго спорили между собой о выборе; одни предлагали козаров, другие полян, *дунайчей* и *варягов*; некоторые единоплеменники своих «и бысть о семъ молва велия». Здесь, кроме исторического убеждения, действовало и предание о Дунае (преимущественно русское), как о святой словенской реке; и доныне воспоминания о Дунае живут в припевах народных песен у нас и у венгерских русинов.

III. Основные причины призвания

Вопреки положительному сказанию летописи Шлецер не допускает призвания князей в смысле правителей. «Люди, – говорит он, – возвращенные к дикой свободе, и, может быть, подобно далекарльским крестьянам столь же мало знавшие, что такое значит король, не могли вдруг и добровольно переменить гражданское свое право (*civitas*) на монархическое (*imperium*). Они искали только защитников, предводителей, сберегателей границ (по-исландски *Landvarnarmenn*) в случае прихода новых грабителей». Мы не узнаем отсюда, ни в каком качестве, на каких правах и условиях были призваны эти *Landvarnarmenn*’ры; ни вследствие каких логических побуждений славяне и чюдь, выведенные из терпения жестокостью и насилиями норманнов, сначала изгоняют своих притеснителей, а потом, опасаясь возвращения изгнанных, призывают их сберегателями своей безопасности. Эверсу не стоило большого труда опровергнуть эту теорию; если бы выведенные Шлецером положения принадлежали и самому Нестору, историк имел бы полное право отбросить их, как противные исторической вероятности и здравому смыслу; что же, когда они только плод шлецеровского воображения! Приводимые из истории других народов мнимые примеры подобных призваний убеждают нас только в одном, а именно, что факт призвания, каковым он представлен у Шлецера, явление беспримерное в истории народов древних и новых. Британцы призывают англосаксов на помощь против пиктов и скоттов, не против самих себя. Жители Руана, изнемогая от набегов Гастингса, угрожаемые нападением от норманнов Роллона, лишенные, наконец, всякой надежды на помощь от короля Карла, решаются признать над собою власть Роллона, с тем, чтобы он защищал и судил их по праву. Это более или менее история всех беззащитных, к сдаче принужденных людей; но что общего между жителями Руана, ожидающими гибели от двух, уже остальной землей овладевших врагов, и победными, только что от ига освободившимися племенами славян и финнов? Об отличии между сдачею Руана и призванием варяжских князей можно судить по последствиям той и другого. Роллон владеет Нормандией на правах завоевателя; земля побежденных размежевана по веревке; товарищи Роллона делят между собой города и деревни; прежние владельцы изгоняются или становятся вассалами новых. Знает ли русская история о подобных явлениях? Допуская причину, норманнская школа не вправе отделять ее от последствий.

Круг, принимающий призвание князей, ссылается на герулов и указывает на отправленное ими посольство из Мизии в Скандинавию, чтобы избрать себе там властелина из царского рода. Но герулы и скандинавы были одного племени, одного языка. Славянские народы были не менее германских привержены к своей национальности. Мы не видим, чтобы славяне балтийские, бывшие в несравненно теснейших против Руси то враждебных, то дружеских отношениях к норманнам, призывали их княжить над собой; венды платят дань германскому императору, князья их ездят за решением споров в Компьень; но ни венды, ни чехи, ни другие славянские племена не просят князей у своих врагов германцев, норманнов, аваров. В эпоху позднейшую, когда по мере возрастающего образования должна была усилиться в людях привязанность к родной почве, киевляне грозят Ярославичам покинуть Киев и уйти в Грецию; и мы знаем, что вообще подобного рода выселения были в духе славянских народов. Не решились ли бы скорее словене и кривичи выселиться из Новгорода, Изборска или Полоцка (допустив вероятность ничем не оправдываемого в них панического страха от изгнанных варягов), нежели «подвергнуть себя снова игу тиранов раздраженных, или искать в них самих защитников против их самих»?

Сознавая основательность этого возражения, Погодин полагает, что были призваны не изгнанные в 859 году (?), а особое норманнское племя, варяги-русь «известное им (славянам и финнам) вероятно более других, вследствие какихнибудь предыдущих обстоятельств,

напр., торговли, которую искони производили новгородцы на море Балтийском» и пр. Я не думаю, чтобы в призвании того или другого норманнского племени могло быть существенное различие; самое призвание не могло слишком разниться от завоевания. Как бы то ни было, если принять с большинством норманистов, что варяги-русь были шведские россы, обитавшие на ближайшем к новгородским словенам и чюди упландском берегу, на так называемом Родене, выходит, что варяги-норманны, имевшие дань на словенах, чюди и пр. и изгнанные в 862 году, принадлежали к *дальнему*, менее известному племени; роденские же шведы, наши *sosеди*, жили с нами в согласии, почему и призваны княжить над нами! Где же тут историческая вероятность и логика?

Ни Круг, ни г. Куник не обращают особого внимания на вопрос о причинах призвания; последний (несмотря на заглавие своей книги) едва ли не принимает чистого норманнского завоевания.

Г. Соловьев не отвергает предания летописи; но, основываясь преимущественно на словах Нестора «и почаша сами въ себе володѣти; и не бе въ нихъ правды, и въста родъ на родъ, быша въ нихъ усобиц, и воевати почаша сами на ся», полагает, что до призвания князей общественное устройство славянских племен на Руси не переходило еще родовой грани... веча, сходки старшин, родоначальников не могли удовлетворить возникшей общественной потребности, потребности наряда... чему доказательством служат усобицы родовые, кончившиеся призванием князей. Целью призвания, говорит он далее, было установление наряда, нарушенного усобицами родов: «Роды, столкнувшиеся на одном месте и потому самому стремившиеся к жизни гражданской, к определению отношений между собою, должны были искать силы, которая внесла бы к ним мир, наряд, должны были искать правительства, которое было бы чуждо родовых отношений, посредника в спорах беспристрастного, одним словом *третьего судью*, а таким мог быть только князь из чужого рода».

Взирая на причины призвания варяго-норманнских князей как на естественное следствие тогдашнего положения славянских племен, а на самый факт призвания как на явление исторически необходимое, г. Соловьев забывает, что этот факт (если допустить норманнство варяжской Руси) является случаем беспримерным, единственным в истории народов, тогда как причины его (беспорядки и смуты вследствие родовых усобиц) существуют в данную эпоху и при тех же самых условиях у всех известных народов. Что Нестор говорит о восточных славянах в IX веке, то самое говорят Дитмар, Адам Бременский, Гельмольд о западных; его слова «и не бе въ нихъ правды, и въста родъ на родъ» представляют живую картину состояния вендских племен в конце XII столетия; между тем вендские славяне не призывают князей от норманнов или от немцев. Каким образом (при относительно меньшей степени образования) является у восточных славян в девятом веке политическая потребность наряда, выражающаяся призванием князей от чужого народа, неизвестная при одинаковых условиях западным славянам XII? Может ли народ или общество, желающие князя миротворца и судью, обратиться к князьям чужого, враждебного племени, не знающим ни языка, на котором должны выслушать притязания родов, ни права, по которому судить своих подданных? Заметим, что у г. Соловьева, несмотря на его теорию славяно-чюдского союза, дело идет здесь об одних только славянских племенах; при участии финнов в призвании являются новые, неразрешимые затруднения. Между славянами и финнами не может быть речи о столкновении родов на одном месте, о возникшем отсюда стремлении к жизни гражданской, к определению отношений между собою и пр.; а только о столкновении двух разнородных и враждебных народностей, историческом явлении, всегда и везде вызывавшем не призвание одного общего князя, а кровопролитные войны, завоевания, истребление одного народа другим. Самое стремление к новому порядку вещей, к переходу из патриархального состояния в политический быт понятное (в смысле проводимой г. Соловьевым теории) у славянских народов, оказывается произвольной мечтой историка относительно финских племен;

подобные стремления в народах не исчезают; а о чюдских населенцах Руси сам г. Соловьев замечает, что еще в XIII веке они оставались на той же ступени гражданственности, на какой, по его мнению, славянские племена дреговичи, северяне, вятичи находились в половине IX века; жили особыми и потому бессильными племенами, которые, раздробляясь, враждовали друг с другом. Наконец, позволяет ли историческая вероятность допустить в славянах и финнах IX столетия странное убеждение, что норманнские конунги, призванные со своими родами или дружиною, явятся не завоевателями, а миротворцами?

Норманнская теория не объясняет ни причин, ни последствий призвания; и те, и другие чисто славянского свойства; для настоящего их уразумения необходимо предварительное указание на те, всем славянским народам общие условия их внутреннего организма, из случайного развития которых вышло, по нашему мнению, дело призвания. Только посредством аналогического сравнения известных явлений общеславянского быта с одинаковыми явлениями в быте доваряжской Руси можно извлечь из скудных известий Несторовой летописи сокрытые в ней намеки на то особое состояние восточных славянских племен, которое во второй половине IX века вызвало их к избранию князей из иноплеменного, хотя и славянского рода.

Два основных факта проявляются во всех славянских историях; это, с одной стороны, особое преобладание родового и религиозного старшинства в отдельных племенах; с другой, утвержденное на понятиях о родовой собственности значение княжеского достоинства.

Совокупность родов образует племя; совокупность племен землю. Понятие о земле неразлучно у славян с понятием о народности; *Cechy* и *Ceska zeme*, *Morawa* и *Morawska zeme*, Русь и Русская земля означают вместе народ и землю. При общей основе их организма, отношения как родов, так и племен определяются законами старшинства. Каждый род в племени, каждое племя в земле составляют особый мир; старшинство в отношениях родов и племен получает значение *благородства* и *власти*, прямой источник раздоров, нередко взаимной ненависти племен. По свидетельству безымянного биографа св. Отгона, юлинцы, уважая старейшинство и благородство щетинян, не решались принять христианства без предварительного их согласия. По мере размножения родов и племен, на основании особых родовых отношений образуются союзы (таковы у прибалтийских славян союзы оботритов и лутичей), постоянно изменяющие свой состав и значение вследствие вольного или вынужденного перехода племен от одного союза к другому. Отсюда непрерывные изменения в этнографии и самой ономастике западных славянских племен у Эйнгарда, Дитмара, Адама, Гельмольда, Видукинда и других. Как у нас дулебы переходят в бужан, а бужане в волынян, так Эйнгардовы велетабы в Дитмаровых лутичей. Имена линонов, смельдингов и бетенцев сменяются именами варов или вукраинцев и абатаренов. Вукраинцы переходят у Гельмольда в вагиров; изменения, вызываемые временным преобладанием одного племени над другим, иногда слиянием двух или нескольких племен и свидетельствующие о вечном состоянии брожения в самобытно развивающихся славянских народностях. Делению на племена и союзы отвечает деление на религиозные обединения; старшинству племенному старшинство теократическое. В Гельмольдово время теократическое первенство над всеми славянскими племенами принадлежало Арконе и Руе. Вражды племенные вызывают религиозные и наоборот; нередко и самое понятие о княжеской власти определяется теократическим значением или старшинством племени или города. Премыслид, владевший вышеградским столем, был *ipso facto* законным князем Чешской земли.

Князьями начинается история всех славянских народов. У хорватов пять братьев: Ключас, Лобель, Козенец, Мухло, Хрват и две княжеские сестры, Туга и Буга. У сербов два брата неизвестных по имени; у хорутан Борут; в биографии св. Руперта упоминается о «*Sarentanorum rege*» около 684—78 годов. У ляхов Попел; у чехов Чех, Само, Крок и т. д. Напрасно навязывают славянам первоначально демократический быт. «Сей народ, — гово-

рит Карамзин, – подобно всем иным, в начале гражданского бытия своего не знал выгод правления благоустроенного, не терпел ни властелинов, ни рабов в земле своей, и думал, что свобода дикая, неограниченная, есть главное добро человека». Это мнение не основано на изучении коренных законов исторического быта славянского общества; в превратности толкования приводимых ему в доказательство мест иноземных писателей удостоверяют положительные, исторические факты, засвидетельствованные этими же писателями или их современниками. Понятно, что при множестве однородных князьков, деливших верховную власть между собою, при княжеских съездах, определявших права их, при городских вечех и пр., внутреннее устройство славянских племен не отвечало понятиям византийцев о монархии, в греческом смысле единодержавия. В самом деле, славянские племена признавали власть не одного лица, а всех членов княжеского рода. От Прокопьева современника императора Маврикия (582—602) узнаем мы настоящее значение этого мнимого демократизма славянских народов. «Non fuerit inconveniens, – говорит он о славянских князьях – aliquos eorum trahere in partes suas, vel persuasionibus, vel largitionibus... ne se omnes hostiliter jungant, et, subunius imperium concedant»). Выводить из Прокопьевых слов демократическое устройство славянского общества так же неверно, как основывать мнение об отсутствии у славян княжеской власти на известии Константина Багрянородного об управлении далматских славян не князьями, а старейшинами и жупанами. Это плохо понятое, а может быть, и переписчиком искаженное место Константина, поясняется соответствующим ему в летописи продолженного Феофана; по словам ее, все эти народы управлялись собственными князьями еще до крещения при Василии Македоняnine. Сам Константин свидетельствует о существовании князей и княжеских родов у всех славянских племен *при первом их появлении в истории*.

Как в VI веке Прокопий, так в XI Дитмар свидетельствуют не о демократическом устройстве славянского общества, а об основном начале славянской гражданственности, о начале родовом, в его применениях к княжеской власти. Из современных германских источников нам известно существование княжеских родов у лутичей уже в VIII веке; у оботритов эти роды ведутся в непрерывной связи от конца VIII до конца XII столетия. У чехов Козьма Пражский пересчитывает до времен исторических, т. е. от Крока (VII век) до Боривого I десять князей, наследственных обладателей Чешской земли. Самые историки, утверждающие свое мнение о первоначально демократическом быте славянских народов на неверно толкуемых свидетельствах писателей X, XI и XIII столетий, сознают развитие у них монархического и аристократического начала уже в VI и VII веках.

Под какими бы названиями ни являлись эти властелины (у большей части славянских племен *князь*; у славян диоклейских *великие жупаны*, переходящие потом в *королей*), основные начала и права княжеской власти одинаковы у всех славянских народов; у всех повторяются известные нам явления русской истории, при князьях варяжской династии. Владение сообща родовым наследием под верховным управлением старшего в роде или семье, коренное общеславянское право, существующее и донныне у черногорцев, сохранившееся у чехов до XVII столетия. Отсюда встречающееся только у славян выражение *дедина* (у поляков *dziedzictwo*; у чехов *dedina*) для обозначения общего родового наследия; отчина уже выдел из общего достояния, основанный на частном приобретении, в строгом смысле нарушение права дедины. На применении к управлению землею этих органических законов славянской семьи утверждается значение княжеской власти в славянском мире. Все князья члены одного рода; обладание землею составляет нераздельную родовую собственность; великий князь означает старшего в роде.

Самая теогоническая система языческой Славяницы основана на законах родового начала, в их применении к верховной власти богов, небесных князей; славяне, по свидетельству Гельмольда, признавали одного верховного бога, родоначальника всех других богов, а

их исполнителями порученных им должностей, так что, происходя от него, они были тем сильнее, чем ближе родством к всемогущему богу богов. Утвержденное на одних и тех же патриархальных началах старшинство родов, племен, религиозных объединений и городов не противоречит идее о княжеском полновластии, а только довершает органическое здание славянского общества. Славянский князь полный хозяин в земле; но над княжеской властью есть древний обычай, закон, *правда*. Выдающиеся отсюда славянские особенности, мирские сходки, веча, советы старшин, могут представляться в исключительно демократическом виде только неславянским или предубежденным историкам.

Как из начала родового и религиозного старшинства племен вражды племенные, так из начала старшинства в родах княжеских уособицы княжеские; о тех и о других свидетельствуют летописцы всех времен и народов. Уже в VI веке главные явления всех славянских историй: вражда племен, отсутствие единодержавия, существование княжеских родов, уособицы княжеские.

История словено-русских племен должна повторить в IX веке общие всем славянским народам условия их внутреннего устройства, как их повторяет впоследствии при князьях варяжской династии. Эти русские исторические явления могут быть дознаны и определены, несмотря на сухость и неясность источников.

О состоянии Руси в эпоху призвания перед нами два мнения, отличных по выражению, но ведущих к одинаковым историческим заключениям; Шлецера о дикости, г. Соловьева о младенчестве словено-русских племен. И то, и другое воззрение вынуждено (быть может, и бессознательно) необходимостью согласовать историческую вероятность с теорией о скандинавском происхождении Руси; добровольная подчиненность славянских племен враждебному игу полудиких норманнов логически немыслима, если не представить этих племен стоящими в IX веке на несравненно низшей, против своих скандинавских властителей, степени гражданского образования.

Под влиянием этой необходимости Шлецер принимает в буквальном смысле слова летописца о звериных обычаях славянских племен, населявших в IX веке нынешнюю Россию; вследствие чего и изображает их людьми, не имевшими до 860 года политического постановления, сношения с иноплеменными, письма, искусств, религии, или только глупую религию; дикарями вроде ирокойцев и альгонкинцев и пр.

В наше время, после исследований Шафарика и трудов русской исторической школы последних десятилетий, после нумизматических открытий Френа, Савельева и других, мнение Шлецера о чрезмерной дикости словено-русских племен уже далеко не имеет прежнего значения; оно основано не на изучении фактов, не на определении настоящих законов гражданского устройства доваряжской Руси, а на ложных понятиях энциклопедической школы XVIII столетия об исторических началах народов. В девятом веке ни западные, ни восточные славяне не стояли на той низкой ступени человеческого образования, о которой, вместе с Шлецером, мечтали Гебгарди и большинство немецких, славянам враждебных, историков. Исследования, основанные на положительных фактах, утвердили за славянским языческим миром существование, в известной степени, права, торговли, городов, письма, сложной языческой теогонии, всех условий общественной жизни. Переводы церковных книг, чешские поэмы времен язычества и пр. явно свидетельствуют как о высокой степени раннего образования славянского языка, так и о его превосходстве, по развитию грамматических форм, над современными ему наречиями других, новейших европейских народов. Из беспристрастных немецких историков многие сознают сравнительное превосходство славянского над германским образованием в эпоху язычества; пораженные торговым и земледельческим благосостоянием поморских славянских земель, бамбергские миссионеры сравнивали Вендскую область с обетованной землей. «Еще в то время, — говорит граф Столберг, — когда германские племена жили только охотою и рыбною ловлею, мало занимаясь земледе-

лием, славяне были уже искусными и трудолюбивыми хлебопашцами, готовили неизвестные немцам земледельческие орудия, ткали полотно и выделывали шерсть, промышленяли и иными ремеслами. Для многих житейских потребностей, предполагающих уже высшее развитие образования, славянские языки знают туземные, определенные, чисто славянские выражения, тогда как те же предметы означены в германском языке словами, явно заимствованными из латинского; ясное доказательство, что германцы узнали их гораздо позднее от римлян». Отличались ли восточные славяне от западных особой суровостью нравов, особою невосприимчивостью начал просвещения? Мы имеем доказательства противного; уже одни торговые связи с Востоком не могли не способствовать развитию в Руси всем славянским племенам природных наклонностей к гражданственности и образованию; и если Шафарик зашел слишком далеко в представлении новгородских славян IX века народом, изнеженным роскошью и богатством, то все же основная его мысль исторически верна; в рассказах исландского севера Гардарикиа времен Владимира и Ярослава представлена землей блеска и пышности; из американских дикарей Шлецера и Добровского никакое призвание не создаст Руси XI столетия. Само дело призвания (если только не извращать смысла летописи в угодность прихотям скандинавизма) обличает замечательную, не одного исследователя поразившую степень развития гражданского чувства в словено-русских (по крайней мере северных) народностях. Противопоставлять исторически дознанным фактам мрачную картину дикости славянских племен у Нестора или Козьмы Пращского значит не ведать духа и направления христианских летописателей средних веков; отличительная черта их, умышленное унижение всего былого, в похваление книжной образованности своего времени.

Теория г. Соловьева о состоянии младенчества словено-русских племен в IX веке утверждается на двух главных положениях: 1) отдельный, уединенный быт по родам этих племен; 2) управление родов родоначальниками, ненаследственными старшинами.

Он говорит: «Летописец прямо дает знать, что несколько отдельных родов, поселившись вместе, не имели возможности жить общей жизнью вследствие усобиц; нужно было постороннее начало, которое условило бы возможность связи между ними, возможность жить вместе; племена знали по опыту, что мир возможен только тогда, когда все живущие вместе составляют один род с одним общим родоначальником; и вот они хотят восстановить это прежнее единство, хотят, чтобы все роды соединились под одним общим старшиною, князем, который ко всем родам был бы одинаков, чего можно было достичь только тогда, когда этот старшина, князь, не принадлежал ни к одному роду, был из чужого рода».

Я оставляю покуда в стороне несколько произвольное толкование летописи; допускаю правильность выводимых г. Соловьевым из слов Нестора заключений о первобытном состоянии словено-русского общества в IX веке, но спрашиваю: на чем основан авторитет летописца в общем деле о степени образования русских племен до варягов? Он мог знать по преданиям, былинам и песням о положительных фактах, о варяжской и хазарской дани, о призвании варяжских князей, о действиях Рюрика, Олега, Игоря; но здесь перед нами не факты, а представление, какое монах XI–XII столетий себе составил об устройстве словено-русского общества в эпоху мифической древности. Почему должны мы верить на слово Нестору в вопросе, о котором так смело и решительно отвергаем свидетельство его современника Козьмы Пращского? В подобных случаях сказания летописца имеют вес только при согласии с законами исторической аналогии и правдоподобия, при подтверждении их свидетельствами современных иноземных писателей. Но, за исключением еврейской семьи, история не знает ни одного земледельческого народа в том состоянии и при тех условиях первобытности, в которых является Русь IX века у г. Соловьева. Дионисий Галикарнасский, Плутарх и другие сохранили память о началах римского общества; но в основу ему полагают не род (*gens*), а племя (*tribus*) рамнетов, составленное из тысячи родов, распадавшихся на десять *курий*, при совете старшин (*decuriones*) или сенате, во главе коего стоял князь – гех.

За восемь столетий до Рюрика Тацитовы германцы являются совокупной народностью, распадающеюся на племена, с общим для всех народным правом, верховной властью, судами, сословиями. Прямых свидетельств о внутреннем состоянии Руси в IX и предшествующих веках до нас не дошло; но мы имеем известия Эйнгарда, фульдских летописателей, Видукинда и пр. о прибалтийских славянах, византийских историков о славянах болгарских и адриатических; ни те, ни другие не представлены американскими дикарями или израильянами времен Авраама. Да и к какой эпохе относятся слова летописи, на которых г. Соловьев утверждает свою систему? Он говорит: «Что касается быта славянских восточных племен, то начальный летописец оставил нам об нем следующее известие: каждый жил со своим родом, отдельно, на своих местах, каждый владел родом своим». Летопись говорит: «Поляномъ же живущемъ особе и владеющемъ роды своими, иже и до сее братьи бяху поляне, и живяху кождо съ своимъ родомъ и на своихъ местехъ, владеюще кождо родомъ своимъ. Быша 3 братья...» и пр. Здесь речь идет не о девятом столетии, а об эпохе задолго до построения Киева. Положим, что Нестор не отличал быта полян Киевских от быта новгородцев и кривичей в эпоху призвания; историк XIX столетия не имеет права впадать в ту же ошибку, не смешивать славян времен Рюрика со славянами, у которых гостил апостол Андрей.

Я не знаю той эпохи всемирной истории, к которой можно бы отнести то состояние словено-русских племен, в котором они представляются г. Соловьеву; но только, конечно, не к IX веку. В это время нам известны не отдельные роды, живущие на своих местах без общения и связи; а словено-русский народ, отличный от прочих славянских народов по наречию, распадающийся на шесть известных племен, имеющий свои города, свое право, свое особое язычество, свою торговлю, свои общие и племенные интересы. Если вникнуть в смысл летописи, мы увидим, что в доваряжский период нашей истории принадлежат такие общественные явления, которые невозможны иначе как при соединении всех словено-русских племен в одно гражданское целое. Эта история знает при самом начале своем князей, воевод, бояр, княжих мужей, денежные пени, налоги, пошлыны, права наследства; не говоря уже о тех многочисленных юридических постановлениях и лицах, о которых упоминается в Русской Правде и большая часть коих была, без сомнения, исконным достоянием словено-русского общества. Возможны ли эти учреждения при том состоянии первобытности русских людей, какое предполагает г. Соловьев? Или, в самом деле, это явления позднейшие? В таком случае должно указать на их происхождение. Норманнская школа, если и не для пояснения народного русского быта, о котором она никогда не заботилась, но из этимологических видов выводила князей, бояр, тиунов, грид, мечников, ябетников, вирников, метников, огнищан, смердов, людей, обла и пр. и пр. из скандинавского источника; это понятно; по крайней мере, последовательно. Принимая славянские племена в IX веке за разъединенные стада человекообразных существ, еще не дошедших до понятий о Боге и о княжеской власти, она вносила к ним все учреждения германо-скандинавского общества; даже самый скандинавский язык. Конечно, все это неверно и даже смешно; но для допускающих норманнское происхождение варяжских князей естественно и логически необходимо; так естественно и логически необходимо, что в продолжении ста слишком годов весь ученый славянский и не славянский мир верил в норманно-русских больярлов, гирдменнов, ейн-гандинов, лидов, смаердов, танов, думансов и т.д.; и только недавно г. Срезневский покончил с этой этимологической мистификацией. Варягами ли (т. е. как увидим, западными славянами) занесены к нам все общественные учреждения и звания, о которых упоминается в первые два века нашей истории? Иные, конечно; но далеко не все, далеко не большая часть их. Как на западе славянские земли делятся на союзы оботритов и лутичей, моравов и словаков, так шестиплеменная земля на востоке распадается на словен и на южную Русь. Прокопий, кажется, уже знал об этом делении; у Нестора связь и антагонизм Новгорода и южной Руси проглядывают в первых строках летописи. На родственной и политической связи Новгорода с Киевом и выдающихся

отсюда исторических особенностях основана вся первобытная история Руси. Заметим здесь, что уже из Несторова предания о словенском происхождении шести русских племен следует заключить о племенном старшинстве Новгорода в Русской земле; от словен, по сказанию летописца, принимает Киев сначала Аскольда, потом династию Рюрика; и в обоих случаях не вследствие прямого завоевания. Еще при Всеволоде Георгиевиче (несмотря на изменившиеся отношения племен после перенесения великокняжеского стола на юг) Великий Новгород считается старшим городом на Руси: «А Новъгородъ Великий старшинство имать княженью во всей Русьской земли»; историческое явление, далеко восходящее за эпоху призвания варягов. На юге летописец свидетельствует о племенной вражде между полянами и древлянами; Аскольд и Дир воюют на древлян; по смерти Игоря древляне домогаются власти и старшинства посредством сочетания своего князя с вдовой Игоря. Нет сомнения, что и между прочими племенами велись кровавые споры о старшинстве; о подобных, всем славянским народам общих явлениях, находим отголосок и в позднейшее время: «Непротиву же Ростиславичема бяхутся володимерци, но не хотяще покоритися ростовцемъ, зане молвахуть: пожъжемъ и, паки ли посадника въ немъ посадимъ; то суть наши холопи каменъници». «Новгородци бо изначала, и смолняне, и кыяне, и полочане, и вся власти якоже на думу на веча сходятся, на что же старейшии сдумають, на томъ же пригороди стануть; а zde городъ старый Ростовъ и Суждаль, и вси боляре, хотяще свою правду поставити, не хотяху створити правды Божья, но како намъ любо, рекоша, тако створимъ, Володимерь есть пригородъ нашъ» и пр. И здесь опять древний обычай, остаток прежнего порядка вещей, основанного на древнеславянском праве.

Труднее, при известной скудости дошедших до нас преданий о словено-русском языке, указать на следы нераздельных от племенных междоусобий религиозных распрей у русских славян. В существовании самого явления не позволяют сомневаться как законы исторической аналогии, так и засвидетельствованное летописью нерелигиозное отличие между славянскими племенами. Г. Буслаев справедливо заметил, что Нестор определенно и ясно отличает три брачных обычая; древлянский (умыкание), северский (побеги) и полянский (брак с родительского согласия). Только напрасно, думаю, видит он здесь три ступени, три эпохи в историческом развитии брака. Поляне, древляне, северяне, как одновременные поселенцы в земле, как однокровные члены словено-русской семьи, не могут быть отличены друг от друга по эпохам и периодам образования; и доныне древлянский обычай насильственного, враждебного умыкания сохранился у сербов. Здесь отличие по сектам, по религиозным обединениям племен, как у балтийских славян; то же самое видим и в отношении к сожжению и погребению мертвых. Радимичи, вятичи и северяне сожигали мертвых; арабские писатели и Лев Диакон свидетельствуют об обряде сожжения у руси X века; другие племена держались обычая погребения; Аскольд и Олег преданы земле; Игорь погребен древлянами. У вендов и чехов оба обряда существовали одновременно; явление, очевидно, основанное на преобладании того или другого племенного богопоклонения. По всем вероятностям, кривичи принадлежали к обединению ромовского жреца Криве-Кривейто; уже одним этим обстоятельством, так явно свидетельствующим о значении, какое словено-русские племена придавали религиозным вопросам, обуславливаются и необходимые последствия этого мистического направления умов; и при отсутствии прямых исторических указаний очевидно, что разнообразие религиозных обрядов и сект вызывало религиозные усобицы на доваряжской Руси, как их заведомо вызывает в земле балтийских славян.

Как теория Шлецера о дикости, так теория г. Соловьева о младенческом состоянии Руси в эпоху призвания необходимо ведет к отрицанию княжеской власти у словенорусских племен до варягов. Мнение это, нашедшее себе опору в неверно понятых свидетельствах двух-трех иноземных писателей о мнимом демократическом быте славянских племен вообще, стало, вместе с норманнским происхождением руси и призванием варяжских князей из

Скандинавии, каноническим догматом русской истории от Шлецера до наших дней; между тем, для утверждения этого догмата приходится, как сейчас увидим, отвергнуть целый ряд исторических фактов, внесенных в Несторову летопись; отвергнуть понятие самого Нестора о значении слов князь, княжение, княжить; допустить, что русские славяне стояли несравненно ниже всех остальных славянских народностей не только по образованию, но и по самой способности к образованию; принять, наконец, что дикари, еще неспособные к самому понятию о княжеской власти, вдруг почувствовали (в соединении с другими финскими дикарями) необходимость монархического устройства и приняли от скандинавов, основанное на неизвестном скандинавам родовом начале, нераздельное управление землей одним княжеским родом.

Мы привели утвержденные свидетельством современных писателей доказательства древнейшего существования княжеских родов у всех славянских народов; в эпоху призвания мы знаем у моравских славян князей Ростислава, Святополка и Коцела; у ляхов Пястов; у чехов Премыслидов; у оботритов и лутичей потомков Дражка и Драговита; у всех княжеская власть и княжеские роды со времен незапамятных. Где причины предполагать невозможное отличие в основных формах народной жизни между славянами русскими и другими славянскими племенами? Если бы летопись не упоминала положительно о русских князьях до варягов, и тогда бы законы исторической аналогии утвердили это основное, общеславянское явление и за словенорусским миром. Но мы не имеем недостатка в положительных, несомненных доказательствах. «Но се Кий княжаше въ роди своемъ», – говорит летопись и далее: «И по сихъ братьи держати почаша родъ ихъ княженъ въ Поляхъ, въ деревляхъ свое, а дреговичи свое», и пр. «А наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю». Кий с братьями в Киеве, князь Мал у древлян, «князья подъ Ольгомъ суще» – как увидим покорившиеся остатки прежних владетельных родов – явно указывают на существование у нас, наравне с прочими славянскими племенами и при тех же, конечно, условиях, родового монархического начала.

Шлецер и г. Соловьев, каждый по-своему, толкуют значение князей и княжеского имени в летописи Нестора.

О русских князьях до варягов Шлецер даже не помышлял. Он искал аналогий Руси у американских дикарей, у далекарлийских крестьян и т. д., везде, кроме славянских племен. «Какая нужда русским, – говорит он, – до всех мелких подробностей о мизийских болгарях, моравях, дунайских словенах, вендах при Балтийском море и пр.?» На основании и вследствие исторических понятий, выдающихся из применения этого положения к изучению древнерусского быта, мы узнаем, что русские славяне в IX веке, подобно далекарлийским крестьянам при К. Сверре, еще не знали, что такое король; слово князь имело у них значение не государя, а главного супана, главного старейшины; в Лаузице оно вообще означает почтение; в нижнем Лаузице и в Богемии священник преимущественно называется *кнезь*.

Эверс опровергал Шлецера примерами из Св. Писания и самой летописи; и в том, и в другой слово *князь* имеет постоянное значение владыки, государя; о князьях до варягов он заботился не более Шлецера. Я не знаю, до какой степени известие Торфея о невероятной дикости далекарлийцев во второй половине XII столетия понято Шлецером в его настоящем значении; но позволю себе заметить, что понятия о княжеской власти, о знаменитости рода и пр. проявляются у всех народов при первом их вступлении на историческое поприще и нисколько не предполагают необыкновенного развития общественного образования. Не говоря уже о народах древнего мира, мы знаем, из Тацита и других писателей, что германцы имели князей и старинные княжеские роды задолго до Рождества Христова. Как маркоманны и квады из родов Марбоды и Тудры, так вандалы избирали своих королей из рода Ардингов; вестготы из Бальтов, остготы из рода Амалов. Мне допустят, надеюсь, что славянское племя в IX веке стояло по образованию не ниже германского в первом. Аттиловы гунны

не отличались особенной утонченностью просвещения; между тем едва ли кому войдет в голову превратить Аттилу из царя в обер-супана или Landvarnarmann'a. Что же касается до религиозного значения слова *князь*, оно не умаляет, а усугубляет его политическое значение. Славянский князь был вместе жрецом и судьей. Как Лех Воймир в поэме *Cestmir a «Vlaslav»*, так у нас Владимир лично приносит жертвы богам. У древних греков, времен героических, достоинство жреца было неразлучно с княжеским званием; о готском короле Комозике читаем у Иорнанда: «*Hie etenim et rex illis et pontifex ob suam peritiam habebatur et in sua justitia populos judicabat*». «Слово *князь*, – говорит Эверс, – является без числа в летописи Нестора и при различных сочетаниях, но никогда не означает оберегателя границ, молодого дворянина или попа».

Г. Соловьев именует прежних князей до варягов родоначальниками, старшинами, князьями племен; достоинство старшин у славян, говорит он, не было наследственно в одной родовой линии, т. е. не переходило от отца к сыну; боярские роды не могли произойти от прежних славянских старшин (у Нестора князей) по ненаследственности этого звания; вот почему славянские князья исчезают с приходом князей варяжских и пр. Единственная причина, по которой словено-русские князья до варягов представлены у г. Соловьева какими-то ненаследственными старшинами-родоначальниками, заключается в том обстоятельстве, что, по его мнению, старшинство их не было наследственно в одной линии, не переходило от отца к сыну, как в быте кланов; «у наших славян князь долженствовал быть старшим в целом роде, все линии рода были равны относительно старшинства, каждый член каждой линии мог быть старшим в целом роде, смотря по своему физическому старшинству». Это, впрочем, совершенно правильное представление княжеских отношений и прав на доваряжской Руси, очевидно, взято г. Соловьевым из примера отношений между князьями Рюрикова дома в XI, XII и последующих веках; и у них старшинство не переходило от отца к сыну, не было наследственно в одной родовой линии; следует ли отсюда превращать их в ненаследственных старшин? Где отличие между прежними князьями и Ярославичами, Ольговичами, Мономаховичами? Или одно и то же проявление родового начала в быте доваряжских и варяжских князей принимает по надобности название «ненаследственности старшин» или «права князей на дедовское наследство»? Одно из двух: или прежние князья были временными, на известный срок или пожизненно избираемыми старшинами, без внимания к роду и происхождению, как в наше время президенты Соединенных Штатов; или они были наследственными князьями в славянском значении этого слова, в смысле Премыслов, Пястов, Рюриковичей. Мы видели наследственных, однородных князей у всех славянских племен с времен незапамятных. Обратимся к Нестору. Только в двух местах летописи говорит он прямо о князьях до Рюрика: «Но се Кий княжаше въ роде своемъ» – «И по сихъ братье почаша родъ ихъ держати княженъе въ поляхъ, въ деревляхъ свое» и пр. Мне кажется, эти слова не допускают двух толкований, особенно, если к ним применить то специальное, строго определенное значение, какое всегда имеют у летописца выражения *князь* и *княжить*; здесь перед нами уже, конечно, не ненаследственные старшины, а князья, княжеские роды в полном смысле этих выражений во всех местах летописи, у всех славянских народов. Не иначе понимали сказаний Нестора и позднейшие составители летописей; особенно замечательна так называемая Густинская летопись по верности взгляда на его определение доваряжской Руси.

Представителем значения в летописи и в истории доваряжских князей на Руси является древлянский князь Мал около половины X века. Он не норманн, не варяг; он единственный, нам известный по имени, не покорившийся варяжской династии князь от прежних словенорусских князей. Г. Соловьев не признает его князем всей Древлянской земли: «По всему видно, – говорит он, – что он был князь коростеньский только, что в убиении Игоря участвовали одни коростеньцы под преимущественным влиянием Мала, остальные же древ-

ляне приняли их сторону после, по ясному единству выгод; на то прямо указывает предание: «Ольга же устремися съ сыномъ своимъ на Искоростень градъ, яко те бяху убили мужа ея». Малу, как главному зачинщику, присудили жениться на Ольге; но, повторяем, ниоткуда не видно, чтоб он был единственным князем всей Древлянской земли; на существование других князей, других державцев земли, прямо указывает предание в словах послов древлянских: «Наши князи добри суть, иже распали суть Деревьску землю»; об этом свидетельствует и молчание, которое хранит летопись относительно Мала во все продолжение борьбы с Ольгою». Что именно хотел сказать г. Соловьев этим не совсем понятным объяснением, угадать мудрено; по всему видно, что Несторов Мал никак не ложился в принятое им представление о доваряжских князьях на Руси. Одни коростеньцы, говорит он, участвовали в убиении Игоря под влиянием Мала? Но не все же древляне, от первого до последнего, могли убивать киевского князя в одно данное время. Ольга пошла на Коростень? Но куда же ей было идти?

Слова древлянских послов доказывают существование, кроме Мала, других князей, державцев Древлянской земли? Без сомнения. Как Изяслав Ярославич не был единовластцем в Русской земле, а только киевским, т. е. старшим русским князем, так и коростеньский князь Мал в отношении к прочим древлянским князьям, своим родичам. История Мала свидетельствует до очевидности как о старшинстве Коростеня между древлянскими городами, так и о старшинстве Мала перед прочими князьями-родичами Древлянской земли. Древляне, посланные к Ольге, договариваются от имени всей Древлянской земли, не одного Коростеня. «Посла ны Деревьска земля, рекуще сиче: мужа твоего убихомъ, баше бо мужь твой аки волкъ восхищая и грабя, а наши князи добри суть, иже распали суть Деревьску землю; да пойдѣ за князь нашъ за Маль; бе бо имя ему Маль, князю деревьску». Не знаю, можно ли выразить яснее понятие о Мале как о старшем в роде древлянских князей. Что слова «а наши князи добри суть, иже распали суть Деревьску землю» относятся к одному, определенному древлянскому княжескому роду, разумеется само собой. Сказанием о Мале объясняется прежде выведенное о доваряжских князьях вообще: «И по сихъ братье почаша родъ ихъ держати княженъ въ поляхъ, въ деревляхъ свое, а дреговичи свое» и пр. Мысль летописца ясна; ее выражения определены; никакая софистическая изворотливость не может против положительно засвидетельствованного Нестором существования на Руси до варягов наследственных князей и княжеских родов наравне с другими славянскими племенами.

Были ли русские князья до варягов членами одного рода, как у оботритов и лутичей в VIII—XII веках, как Премыслиды у чехов, как впоследствии у нас Рюриковичи? При начале вероятно; эпоха призвания застаёт княжеские роды уже в полном расстройстве. Несомненно кажется деление Руси на два родовых княжеских центра (так было и у вендских славян), соответствующих ее древнейшему племенному делению на словен и на собственную южную русь. Вследствие не дошедших до нас и, вероятно, до самого Нестора исторических переворотов, каждое из южных племен является у него уже отдельным княжением; мы видим то же самое и на Руси XIII столетия; Русь разделяется на несколько независимых княжеств, из которых каждое имеет своего великого князя и своих удельных князей. Северный центр обозначен яснее по волостям. Я повторяю, с надлежащими по моему мнению объяснениями, слова летописца: «И по сихъ братья держати почаша родъ ихъ княженъ въ поляхъ; въ деревляхъ свое, а дреговичи свое, а соловени свое въ Новѣтороде, а другое (т. е. словене держали другое княжение) на Полоте, иже полочане. От них же (т. е. от словен же имели свое княжение) кривичи, иже сядять на верхъ Волги, и наверхъ Двины, и наверхъ Днепра, ихъ же градъ есть Смоленскъ; туда бо сядять кривичи, таже северъ отъ нихъ».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.